

Мессия

Автор:

Дмитрий Мережковский

Мессия

Дмитрий Сергеевич Мережковский

Египетские романы #2

«... Потом, сойдя к озеру, закликала:

– Соб! Соб! Соб!

На другом конце озера забурлила вода, и, высунув из нее глянцеvито-черную, как тина, голову, быстро поплыл на зов огромный, локтей в восемь длины, крокодил, зверь бога Собека, Полночного Солнца. На передних лапах его блестели медные, с бубенчиками, кольца, в ушах – серьги, а в толстую кожу черепа вставлено было, вместо похищенного рубина, красное стеклышко. Он был такой ручной, что давал себе чистить зубы акацийным углем.

Выполз из воды на лестницу и растянулся у ног жрицы. Сидя на корточках, она кормила его мясом и медовыми лепешками, принесенными Зенрой, бесстрашно всовывая в разинутую пасть зверя левую руку; от кисти правой оставался только обрубок: ее отгрыз крокодил, когда она была еще девочкой. ...»

Дмитрий Сергеевич Мережковский

Мессия

Ты, Отец, в сердце моем,

и никто Тебя не знает – знаю

только я, Твой сын.

Ахенатон, царь Египта

От Египта воззвал

Я Сына Моего.

Осия. 11, 1

Первая часть. Бунт

I

Тутанкамон – Тутанкатон, посол египетского царя Ахенатона, привез ему чудесный дар с острова Крита, плясунью Дио, жемчужину Царства Морей. Хвастал, что спас ее от смерти; но спас не он. Когда убила она бога Быка на Кносском ристалище, за подругу свою Эойю, принесенную в жертву Зверю, ее присудили сжечь на костре. Но Таммузадад, вавилонянин, любивший Дио, пошел за нее на костер, а Тутанкатон только укрыл ее на своем корабле и привез в Египет.

Прежде чем представить Дио царю в новой столице Египта, Ахенатоне – Городе Солнца, он поселил ее в загородном доме близ Нут-Амона, Фив, у дальнего родственника своего Хнумхотепа, бывшего главного надзирателя житниц Амонова храма.

Удлиненный четырехугольник высоких, как бы крепостных, кирпичных стен окружал поместье Хнумхотепа – скотные дворы, гумна, точила, сеновалы, житницы и прочие службы, а также виноградники и сады, разбитые на

правильные четырехугольники – овощной, плодовой, цветочный, лиственный, хвойный, пальмовый – с тремя прудами: одним большим и двумя малыми. Два высоких, в три яруса, дома – зимний, весь кирпичный, и летний, с кирпичным низом и деревянным верхом, стояли друг против друга, на каждом конце большого пруда.

Здесь, в сельском затишье, провела Дио около двух месяцев, отдыхая от всего, что было с нею на Крите, и учась египетским пляскам.

Однажды, в середине зимы, в послеполуденный час, лежа на коврах и подушках на плоской крыше летнего дома, в легкой решетчатой сени с рядом точеных из кедра, узорчато-расписанных и раззолоченных столбиков, она смотрела на солнце в темно-темно, как бы черно-синем небе, таком бездонно-ясном, что казалось, никогда не было в нем и не могло быть облака. Солнце южной зимы – зимнего лета, яркое, но не ослепляющее, теплое, но не жгучее, было как детская улыбка сквозь сон. Полузакрыв глаза, она смотрела на него прямо, и свет его дробился, как слеза на ресницах, алмазною радугою.

«Ра Солнце, Солнце Ра, – лучшего слова для солнца не придумаешь, чем Ра: Ра рассекает тьму мечом!» – думала Дио.

Мечом свистящего полета рассекали лучезарную тьму синевы зимние ласточки; пели солнцу, кричали, визжали от радости: «Ра!».

Радостно-благодно все. Благодать и радость – в воздухе, таком сухом и чистом, как нигде в мире, дающем многолетие живым и нетление мертвым; таком божественно-легком, что в первый раз им дышащему кажется, что камень, давивший ему грудь всю жизнь, вдруг упал, и только теперь узнал он, какая радость дышать.

Вон дерево-чудовище, все в шипах и колючках, с тускло-свинцовыми, жирными, точно налитыми ядом, суставами, с исполинским, кроваво-красным цветком – разинутой пастью змеи. Но и оно доброе: в благоуханьи цветка – сладость райская – радость Ра.

Вон, за слюдяною полоскою Нила, мелкого, зимнего, горы Аменти – Вечного Запада, в солнечно-розовой мгле млеющие, желтые, как львиная шерсть, источенная сотами гробов. Но и смерть здесь благодатна: души усопших, как

пчелы, собирают мед смерти – вечную жизнь.

«А может быть, у нас на Иде-горе сейчас воет ветер, сосны скрипят, снег валит хлопьями», – подумала Дио, и еще синее сделалось небо, ярче – солнце: захотелось плакать от радости и целовать это небо, солнце, землю, как лица любимых после долгой разлуки.

Улыбалась знакомому чувству: смерть недаром прикоснулась к ней, когда она лежала на костре, готовою к закланию жертвою: как будто умерла тогда и теперь началась новая жизнь, после смерти: другое небо, другое солнце, другая земля – чужие? – о, нет, роднее родных!

Лежу я, больной от печали;

Врачи меня мудрые лечат.

Подходит любимая к ложу,

Смеется сестра над врачами:

Болезнь мою лютую знает! —

пел вполголоса человек лет тридцати, с женственно-тонким лицом, с большими, грустными, как у больного ребенка, глазами, с бритой, как у жрецов, головой, в белой льняной одежде и леопардовой шкуре, перекинутой через плечо, бывший жрец бога Амона, Пентаур, начальник храмовых певиц и плясуний, учивший Дио египетским пляскам.

Стоя на коленях, он едва прикасался концами пальцев к перекрещенным струнам высокой Амоновой арфы с пустым, для усиления звука, деревянным ящиком внизу, украшенным двумя радужными солнцами и головой бога Овна четверорогого.

Тихие звуки струн сопровождали тихую песню. Кончив одну, начал другую:

Каждый раз, как отворится

Дверь в доме сестры моей, —

Сестра моя сердится.

Быть бы мне привратником,

Пусть на меня она сердится:

Услыхал бы я голос ее,

Как дитя, испугался бы!

– И все? – спросила Дио, улыбаясь.

– Все, – ответил Пентаур, чуть-чуть краснея, как будто стыдясь своей слишком коротенькой песенки. Часто и легко краснел, как маленький мальчик: это было странно, почти смешно в тридцатилетнем человеке, но Дио нравилось.

– «Как дитя, испугался бы», – повторила она, уже без улыбки. – Да, почти ничего не сказано – и сказано все. Здесь, у вас, в Египте, любовь бессловесна, как небо безоблачно...

– Нет, есть и у нас длинные песни, но я их не так люблю: коротенькие лучше.

Сильно ударил в струны и запел.

Ты для меня желаннее,

Чем хлеб – голодному,

Сила – немощному,

Крик младенца – рождающей! —

плакали струны страстно, почти грубо, как плачут люди от боли, жажды или голода. И вдруг, тонко-тонко, хитро:

Правду люблю, ненавижу лесть:

Лучше мне видеть тебя, чем пить и есть!

– «Любить – пить и есть», – удивилась она, задумалась. – Как грубо – грубо и нежно вместе! А только ведь и это лесть тончайшая...

– Почему лезть?

– Почему? Ах, брат мой, милый, тем-то жизнь и горька, что без воды и без хлеба люди умирают, а без любви живут...

– Нет, тоже умирают, – сказал он тихо и хотел еще что-то прибавить, но посмотрел на нее долго, молча, и грустные глаза его сделались еще грустнее. Опять покраснел и поспешил заговорить о другом:

– Пришлю-ка я тебе плоильщика: вон перья не так лежат.

Протянул руку, чтобы поправить мелко плоенные на рукаве ее складки – «перья». Дио взяла его за руку. Он хотел ее отнять, но она удержала ее в своей почти насильно, – грубо и нежно вместе, и посмотрела ему в глаза, улыбаясь. Он отвернулся и уже не покраснел, а побледнел чуть заметно под бронзовой смуглостью кожи: «как дитя, испугался».

Так бывало при каждом свидании: прелесть ее, всегда новая, удивляла его, как чудо. О, это слишком стройное тело, слишком узкие бедра, угловатость движений, непокорные завитки слишком коротких, иссиня-черных волос, и мужественно-смуглый, девственно-нежный румянец, как розовый цвет миндаля в густеющих сумерках, и темный пушок на верхней губе – «смешные усики»! Девушка, похожая на мальчика. Это – всегдашнее; а новое – что девушка вдруг не захотела быть мальчиком.

Отпустила руку его, тоже покраснела и заговорила о другом:

– Виноват не плоильщик, а я сама не умею носить – сразу видно, что не египтянка.

– Нет, не по одежде видно, а по лицу и волосам.

Она не носила парика и даже не заплетала волос в тугие косички, по здешнему обычаю.

– А Тута... Тутанкатон говорит, что мне лучше «колокол» идет.

«Колокол» была расширенная книзу юбка критских женщин.

– О, нет! Ты в нашей одежде еще больше... – начал он и не кончил; хотел сказать: «больше сестра», и не посмел: «сестра» по-египетски значит и «возлюбленная». – Еще прекраснее, – кончил он с холодной любезностью.

Оба говорили не о том, о чем думали; думали о важном, а говорили о пустом, как часто бывает, когда один уже любит, а другой еще не знает, полюбит ли.

Дио помнила обет девственных жриц Диктейской богини:

Лучше в петлю, чем на ложе

Ненавистное мужей!

Ненавистой казалась ей мужская любовь, как жаркое солнце – подводным цветам. Но вот, и в любви, как во всем: умерла, и началась другая жизнь, другая любовь – любовь сквозь смерть, как солнце сквозь воду, и подводным цветам не страшное; или как это зимнее солнце – детская улыбка сквозь сон.

– Когда едешь? – спросил он опять о самом важном как о пустом.

– Не знаю. Тут торопит, а мне и здесь хорошо...

Посмотрела на него, улыбнулась, и мальчик исчез, осталась только девушка.

– Хорошо с тобой, – прибавила так тихо, что он мог и не слышать.

– Уедешь, и больше никогда не увидимся, – сказал он, опустив глаза, как будто не слышал.

«Мальчик мой робкий, смешной – зимнее солнышко!» – подумала она с веселой нежностью и сказала:

– Отчего никогда? Ахетатон от Фив недалеко.

– Нет, город его для нас – тот свет... «Его – царя Ахенатона», – поняла она.

– А ты на тот свет и со мной не хочешь? – спросила с лукавым вызовом.

– Зачем ты так говоришь, Дио? Ты же знаешь, что я не могу...

Не кончил, и она опять поняла: «Не могу переступить через веру отцов, через кровь отца». Знала, что отец его, старый жрец Амона, был убит в народном восстании против нового бога Атона.

Слезы задрожали в голосе его, когда он сказал «не могу»; но он заглушил их и заговорил спокойно:

– Не выходи сегодня из дому.

– А что?

Он подумал и сказал:

– Может быть бунт.

– Полно, какой у вас бунт! – рассмеялась она. – Вы, египтяне, самые мирные люди на свете.

Посмотрела на него как на маленького мальчика и спросила:

– И ты бунтовать пойдешь?

– Пойду, – ответил он все так же спокойно, но что-то блеснуло в глазах его, что опять напомнило ей, что отец его умер в бунте.

– Нет, не ходи, милый! – проговорила она с внезапной тревогой.

Он ничего не ответил и снова тихо запел, перебирая струны:

Ныне мне смерть, как мирра сладчайшая,

Ныне мне смерть, как выздоровление,

Ныне мне смерть, как дождь освежающий,

Ныне мне смерть, как отчизна изгнаннику!

– Ай-ай-ай! Что это? – закричала спавшая тут же, в беседке, девочка.

Сидя на верхушке дерева, маленькая ручная обезьянка ела какие-то желтые стручки и кидала шелуху в беседку, стараясь попасть в девочку или в спавшую у ног ее, тоже ручную, газель-сосунка. Долго не попадала. Наконец, повисла, уцепившись одною лапкой за ветку, а другою – кинула горсть шелухи и попала в газель. Та вскочила, заблеяла, подошла к девочке и лизнула ее языком в лицо.

Девочка тоже вскочила и закричала в испуге:

– Ай-ай-ай! Что это?

Ей было лет тринадцать. В тонком и гибком, как змейка, бронзово-смуглом тельце, сквозившем сквозь призрачно-прозрачную ткань – «тканый воздух», странно сочетались ребенок и женщина. Бронзово-розовые кончики сосцов, уже крепко, по-девичьи, круглившихся, подымали, точно пронзали, остриями ткань, а в глазах была еще детская шалость, и в толстых, точно надутых, губках – детская жалобность. Крошечным казалось под огромною шапкою тускло-черных, пушистых, синею пудрою напудренных волос личико, некрасивое, прелестное и опасное, как змеиная мордочка.

Мируит была одной из лучших плясуний, учениц Пентаура; на ее примере он учил Дио.

Заломила руки над головою, потянулась и сладко зевнула, все еще не понимая, что случилось. Вдруг новая горсть шелухи упала к ногам ее. Глянула вверх – поняла.

– А-а, чертовка голозадая! – закричала опять и, схватив глиняный кувшинчик из-под гранатовой наливки – напилась ею давеча, за полдником, оттого и уснула так сладко, – бросила его в обезьянку.

Та злобно зашипела, защелкала зубами, – перескочила на соседнюю пальму и спряталась в листьях – только веера их сухо зашуршали.

– Что это, право, за наказание! Только что начнет что-нибудь хорошее сниться, непременно разбудят, – проворчала Мируит.

– А что тебе снилось? – спросила Дио.

– Мало ли что! Такое хорошее, что и сказать нельзя... Вдруг подошла к Дио, нагнулась и зашептала ей на ухо:

– О тебе. Будто ты меня... Нет, нельзя при нем, подслушает, выдерет за уши...

– Выдеру и так, егоза! Думаешь, не знаю, куда каждый день шляешься!

– Вот, спасибо, напомнил. Опоздала, опоздала! Ждет меня купец мой, ругается, а как раз обещал ожерелье. Мое-то вон как обшмыгалось, стыдно надеть.

– Скверная девчонка, распутная! – закричал на нее Пентаур с внезапной злобой. – Со псом нечистым снюхалась, с необрезанным!

– Пес, да кормилец, не свят, да богат, а из вашей святости похлебки не сваришь! – огрызнулась девочка бойко и дерзко, подражая старым колотовкам на рынке. – Ни муки, ни крупы, ни пива, ни масти – вот уже пятый месяц, шутка сказать! Подвело нас животы на голодном пайке, отощали, как саранча на Соляных Озерах. Сытый бес крепче голодного бога; и чужой Вааль душу напичкал, а свой Овен смирен, да не жирен!

– Ах ты, негодница! В яму захотела?

– В яму? Нет, господин, руки коротки! Времена нынче не те, чтобы в яму невинных сажать. Тронь только пальцем, убегу – не поймаешь! Я – вольная птица: где корм, там и дом.

Птицы Аравийские,

Миррой умащенные! —

запела она, закружила бубен над головой и побежала к лестнице. Газель, как собачонка, за нею.

На верхней ступени Мируит столкнулась с Диинной старою нянею, Зенрою, и едва не сшибла ее с ног.

– Ах, чтоб тебя, коза шалая! – выругалась та, подошла к Дио и подала ей письмо. Дио распечатала его и прочла:

«Еду завтра. Если хочешь со мною, будь готова. Сегодня, до захода солнца, мне надо тебя видеть. Буду ждать в Белом Доме. Пришлю за тобою лодку. Да хранит тебя Атон. – Твой верный друг Тутанкатон».

– Посланный ждет. Что сказать? – спросила Зенра.

– Скажи, буду.

Когда Зенра ушла, Дио взглянула на Пентаура.

Как все жрицы Великой Матери, она была искусною врачихою; видала, как люди умирают, и помнила ту роковую печать – знак смерти, который иногда является на лицах перед близким концом.

Вдруг почудился ей этот знак на лице Пентаура. «Молод, здоров, никакой опасности... Бунт? Нет, вздор!» – подумала, вгляделась – и знак исчез.

– Едешь? – спросил он тихо, но так твердо, что она поняла, что нельзя обманывать.

– Тута едет завтра, а я еще не знаю. Может быть, и не поеду...

– Поедешь. Сама хотела поскорей.

– Хотела, а вот, вдруг забоялась.

– Чего?

– Не знаю. На костре тогда не сгорела, а теперь – точно из одного огня в другой... Помнишь, ты мне говорил о царе...

– Не надо, Дио. Зачем? Ведь все равно поедешь...

– Нет, надо. Гаур, брат мой милый, если любишь меня, скажи все, что знаешь о нем. Я хочу знать все!

Взяла его за руку, и он уже ее не отнимал.

– Все равно поедешь, поедешь, – повторял уныло. – Любишь его, оттого и боишься; знаешь, что не уйдешь; как мотылек, летишь на огонь. В том огне не сгорела – в этом сгоришь...

Помолчал и спросил:

– К Птамозу пойдешь?

– Пойду непременно, без того не уеду.

– Ступай. Он все знает – лучше моего скажет.

Птамоз, первосвященник Амона, злейший враг царя Ахенатона, давно уже звал к себе Дио, но она все не шла и только теперь, перед отъездом, решила пойти.

– Что мне Птамоз? – продолжала она. – Я от тебя хочу знать. Ты прежде любил его, за что же теперь ненавидишь?

– Я не его ненавижу. Знаешь, Дио, мне иногда кажется... Он посмотрел на нее с тою улыбкою, с которою очень испуганные дети смотрят на взрослых.

– Ну, говори же, не бойся, я все пойму!

– Мне иногда кажется, что он – не совсем человек...

– Не совсем человек? – повторила она с удивлением: что-то было в лице и голосе его знающее, видящее.

– Есть такие куколки, – продолжал он, все так же улыбаясь, – дернешь за ниточку, пляшут. Вот и он так: сам ничего не делает, а кто-то за него. Не понимаешь? Может быть, когда увидишь, поймешь.

– А ты его часто видел?

– Часто. Вместе учились у гелиопольских жрецов. Он, я и Мерира, нынешний великий жрец Атона. Мне было тогда тринадцать, а царевичу четырнадцать. Очень был хорош собой, весь тихий-тихий, как бог, чье имя – «Тихое Сердце».

– Озирис?

– Да. Полюбил я его, как душу свою. Он часто уходил в пустыню молиться, а может быть, и так просто, побыть одному. Вот раз ушел и долго не возвращался. Искали, искали, думали, совсем пропал. Наконец, нашли у пастухов, на Ростийском поле, где пирамиды и Сфинкс – древний бог солнца, Атон. Лежал на песке, как мертвый, должно быть, после падучей – тогда у него и начались припадки. А как привезли в город, я его не узнал: он и не он, точно двойник его, оборотень, или вот, как я давеча сказал: не совсем человек. Может быть, там, в пустыне, он в него и вошел...

– Кто он?

– Дух пустыни, Сэт.

– Дьявол?

– По-вашему, дьявол, а по-нашему, другой бог. Ну вот, с этого все и началось...

– Постой, – перебила она. – Ты говоришь, Атон – древний бог?

– Древний, древнее Амона.

– И вы его чтите?

– Чтим, как всех богов: все боги – члены Единого.

– Из-за чего же спор?

– А ты думала, из-за этого? Полно, не такие мы дураки, чтобы не знать, что Амон и Атон – один бог. Лик Солнца видимый – Атон, сокровенный – Амон, но Солнце одно, один бог. Нет, спорят не Атон с Амоном, а Сэт с Озирисом. Сэт Озириса убил и растерзал: убить, растерзать хочет и святую землю Египта, тело Озириса. Для того и вошел в царя...Ты меня не слушаешь, Дио?

– Нет, слушаю. Но ты все говоришь о том, кто в него вошел, а сам-то, сам-то он кто? Или просто злодей?

– Нет, не злодей. В том-то и хитрость диавола, что не в злодея вошел, а в святого. Погибает земля в войне братоубийственной, нивы запустели, житницы разграблены, кожа людей почернела, как печь, от жгучего голода, матери варят детей своих в пищу себе, и это все сделал он, святой. И хуже сделал: Бога убил. «Нет Сына, сказал, я – Сын!»

– Никогда, никогда он этого не говорил! – воскликнула Дио, и глаза ее загорелись таким огнем, как будто и в нее вошел Сэт. – «Не было Сына – Сын будет» – вот что он говорит. Был или будет, был или будет – в этом всё!

– Проклят, кто говорит: Сына не было! – сказал Пентаур и побледнел.

– Проклят, кто говорит: Сына не будет! – сказала Дио, тоже бледнея.

И оба замолчали – поняли, что проклинали друг друга.

Он закрыл лицо руками. Она подошла к нему и молча поцеловала его в голову, как мать целует больного ребенка. Вгляделась в лицо его, и вдруг опять почудилось ей, как давеча, что на нем – знак смерти:

Ныне мне смерть, как мирра сладчайшая,

Ныне мне смерть, как выздоровление,

Ныне мне смерть, как дождь освежающий,

Ныне мне смерть, как отчизна изгнаннику!

Хнумхотеп был человек справедливый и богобоязненный.

Дио принял он в свой дом как родную, не потому, что ей покровительствовал могущественный вельможа, Тутанкатон, а потому, что сами боги покровительствуют изгнанникам. Будучи главным начальником Амоновых житниц, мог брать взятки, как брали все; но не брал. Когда святилище Амона закрыли и Хнумхотеп потерял свою должность, он мог получить другую, лучшую, если бы изменил вере отцов; но не изменил. Мог продавать, во время голода, за какую угодно цену хлеб из земель своих в Стране Озер, Миуэр, не потерпевших от засухи; но продавал его дешевле, чем всегда, и целую житницу роздал голодным. Так жил он, потому что помнил мудрость отцов: «Жив человек после смерти, и все дела его с ним»; помнил две чаши весов: на одной – сердце умершего, а на другой – легчайшее перо богини Маат – Истины, и зоркое око бога Тота, Измерителя, следит за стрелкой весов.

В молодости он сомневался, не лучше ли краткий день жизни, чем темная вечность, и не правы ли те, кто говорит: «Умер человек – как пузырь на воде лопнул – ничего не осталось». Но к старости все больше узнавал – осязал, как рука осязает завернутый в ткань предмет, что там, за гробом, что-то есть, и так как никто не знает, что именно, то проще и умнее всего – верить, как верили отцы.

Хнумхотепу – Хнуму – было лет за шестьдесят, но он не считал себя стариком, надеясь исполнить меру человеческой жизни – сто десять лет.

Лет сорок назад начал себе строить «вечный дом» – гроб, на Горе Запада – Аменти, тоже по завету отцов: «Гроб себе готовь прекрасный и помни о нем во все дни жизни твоей, ибо не знаешь часа, когда придет смерть». Сорок лет рыл в скале глубокую пещеру-гробницу с подземными ходами и палатами, украшал ее, как брачный чертог, и собирал в ней душе своей, невесте, приданое. Делал все это весело, потому что сказано: «Гроб, ты сделан для празднества; ты вырыта, могила, для веселья».

В тот послеполуденный час, когда на плоской крыше Хнумова летнего дома беседовали Дио с Пентауром, – на другом конце большого пруда, у зимнего дома, в легкой, деревянной, на четырех столбиках, беседке сидел Хнум в резном из черного дерева кресле с кожаной подушкой и подножной скамьей, а рядом с ним, на низеньком складном стульце, – жена его, Нибитуйя.

На обоих были одежды-рубахи; узкая, в обтяжку, длинная, по щиколку, на ней, а на нем – пошире и покороче; обе из белого, мелко плоенного льна, не слишком прозрачного, как пристойно людям пожилым; ноги босы: кирпичный пол беседки был устлан для теплоты циновками, и мальчик-слуга держал наготове папирусные лапотки.

Сняв парик с коротко подстриженных седых волос, Хнум повесил его рядом с собой на деревянный болванчик – мужчины снимали парики, как шапки; а на голове Нибитуйи он возвышался, огромный, черный, глянцевитый, точно лакированный, с двумя, по бокам, толстыми, туго закрученными и закинутыми за уши жгутами, загибавшими тяжестью своею уши вперед, что придавало сморщенному личику старушки сходство с летучей мышью.

Хнум был так высок ростом, что маленькая Нибитуйя казалась перед ним почти карлицей; прям, сух, костляв, с жестоким, точно из твердого коричневого дерева выточенным, угрюмым и как бы злым лицом; но когда он улыбался, оно становилось очень добрым.

В будни, с утра до вечера, хлопотала Нибитуйя по хозяйству, в ткацких, швальнях, стряпущих и портомойнях, а в праздники, как сегодня – день лунного бога, Хонзу, – давала себе отдых за легким и в то же время богоугодным делом. На круглом, низеньком столике стояли перед ней два горшочка и две кошелки; из одной вынимала она мертвых жуков, жужелиц, бабочек, пчел, кузнечиков, вспарывала им брюшки кремневым ножичком и, зачерпнув из одного горшочка на костяную ложечку каплю аравийской камеди, а из другого – ливанской кедровой смолы, умащала покойничков; пеленала их в белые льняные пеленочки, как настоящие мумийки, и клала в другую кошелку. Все это делала проворно и ловко, как привычное женское рукоделье. В саду была песочная горка Аменти – Вечного Запада – кладбище для этих мумиек.

Перед Хнумом сидел на полу, скрестив ноги, человек средних лет с веселым и хитрым лицом, писец Межевого приказа, Иниотеф – Иний, управитель Хнумовых земель, стряпчий и ходок по делам. Он был в одном переднике; туловище голое;

у пояса чернильница, за ухом писчий тростник, в руке папирусный свиток со счетом только что доставленных по реке, на баржах, хлебных кулей с Миуэра.

– Когда пришел указ? – спросил Хнум.

– В ночь, и должен быть исполнен сегодня же, солнце да не зайдет в непослушании царю, – ответил Иний.

– Так-так-так! – задолбил, как дятел, Хнум: имел такую привычку. – Гнали Отца, гнали Матерь, а нынче принялись и за Сына!

Сын был Хонзу – Озирис Фиванский, рожденный от Отца Амона и Матери Мут.

– Как же его истребят? Ведь он золотой, – сказал Хнум.

– Бросят в печь, расплавят, понаделают золотых дебенов, накупят хлеба и раздадут голодным: «Ешь бога, славь царя!» – объяснил Иниотеф.

– Как же так нехорошо? Ухух, помилуй, Ухух, помилуй! – завздыхала Нибитуйя.

Ухух был очень древний бог, всеми забытый: ни кумира, ни храма, ни жертв, ни жрецов – ничего у него не осталось, кроме имени. Люди помнили только, что был какой-то бог Ухух, а над чем и какой из себя, давно забыли. Но Нибитуйя за то и любила, жалела его и в трудные минуты жизни призывала не великого Амона, а Ухуха малого. «Никто-то ему не помолится, бедному, а вот я помолюсь, он меня и помилует!» – говорила старушка.

– Ну, а что же народ? – спросил Хнум.

– В ихний хлеб не очень верит, – ответил Иний, лукаво щурясь. – «Всё-де разворуют царские писцы, Атоновы прихвостни, – мимо рта у нас пройдет!» Ну, и жрецы поджигают: «Станьте, говорят, люди, за бога, не выдавайте на поругание лика пречистого!» А такие речи в народ – что огонь в солому. Сам, господин, знать изволишь, время нынче какое, долго ли до бунта!

– Так-так-так, страшное дело бунт!

– Чего страшнее! Сказано: «Потрясется земля, не вынесет, чтоб господами были рабы». Ну, да ведь и то сказать: чего ждать от рабов, когда царь...

– О царе не смей, рыбы съедят! – остановил его Хнум. Это значило: кто царя похулит, будет после смерти брошен в реку на съедение рыбам.

– А второй указ о чем?

– О гробничных землях, чтоб в казну отбирать: отберут у богатых и поделят бедным: полно-де мертвым живых объедать!

– Так-так-так, – задолбил Хнум и замолчал, загляделся на Нибитуйины быстро шевелившиеся ручки, пеленавшие мумию кузнечика.

– Ухух, Ухух, помилуй! – опять завздохала она и, оставив кузнечика недопеленутым, подняла на мужа круглые от испуга глаза. – Как же так, Хнум, чем же будут кормиться покойнички?

– Молчи, старая, не твоего ума дело, знай своих жужелиц! – проворчал он, потрепал ее по плечу, улыбнулся, и лицо его сделалось очень добрым, странно похожим на лицо жены, несмотря на разность черт; казалось, что это брат и сестра: так часто бывают похожи к старости дружно живущие супруги. – Сыты будут мертвые, небось; как бы только нам, живым, не пришлось хуже мертвых! – прибавил он угрюмо.

В самом деле, не очень боялся за мертвых. Если бы вышел указ, чтобы людям хлеба не есть, пива не пить, – ели-пили бы по-прежнему: то же будет и с этим указом: живые мертвых кормить-поить не перестанут, потому что весь Египет на том и стоит, что у живых и мертвых – хлеб один, одно пиво – плоть и кровь бога Хонзу Озириса, сына Божьего.

– А придется-таки взятку дать Атоновым сыщикам, – продолжал Иниотеф.

Бесстрашие Хнума не нравилось ему: по дурной привычке слишком бойких слуг, он любил пугать господина, чтобы выказать перед ним свою важность.

– Пронюхали, псицыны дети, что в гробнице у милости твоей два Амонова лика не замазаны. «Надо, говорят, осмотреть». А найдут – беда: всё разорят, запакосят, а то и в суд потащат – не развяжешься!

– Как же узнали? – удивился Хнум.

– Кто-нибудь донес.

– Кому бы? Никто из чужих не видал.

– Значит, из своих.

– Это он, он, он, Юбра, злодей, змея подкодная! – всполошилась Нибитуйя. – Говорила я тебе, Хнум: не держи эту язву в доме, сошли его на Красную гору бить камни или каналы рыть в Устьи, чтобы его трясовица трясла, окаянного! Снюхался не даром с Атоновыми слугами. Дело-то какое сделал, подумать страшно, на святых Ушебти руку поднял, безбожник! А ты его милуешь...

– В яму посадил, чего еще?

– Что ему яма, змее! В яме-то еще слаще, чем на работе, бездельнику. Я ведь знаю, Хнум, ты ему от меня потихоньку два карава хлеба на день выдаешь да пива горшок. Жрет, боров, жиру нагуливает да над тобой же смеется, дрыхнет весь день и песни поет богу своему нечистому, тьфу!

– Да ты-то чего взбеленилась, жужелица? – проговорил Хнум и посмотрел на нее с удивлением.

Обменялись глубоким взглядом, и он от нее отвернулся, сурово нахмурился. А Нибитуйя встала и поклонилась мужу низко, в пояс:

– Прости, господин, рабу свою, если что не так молвила сдуру. Лучше моего все знать извоишь. А только боязно, – не утерпела, посмотрела на него опять глубоким взглядом, – ох, боязно мне за тебя, Хнум! Любишь ты его, балуешь, а он на тебя жало точит, за твое же добро на тебя злобствует, а такая злоба злее всех...

Иний исподтишка улыбался: добился-таки своего – встревожил господ, хотя и сам еще не знал чем: не такая-де птица Юбра, чтобы из-за него тревожиться.

– Ну, ладно, – проговорил Хнум, как бы очнувшись. – Все пустое. Юбру я не со вчерашнего знаю: глуп, как осел, а этого... этого не сделает: верный слуга...

И вдруг, оборвав, спросил Иния:

– Новый хлеб ссыпают?

– Так точно, господин.

– Ну-ка, пойдем, посмотрим; опять не умнут, лентяи, как следует.

Встал и пошел через сад на гумно.

«Мертвые мухи портят благовонную мазь мироварника: то же делает и малая подлость со всею жизнью человека почтенного», – часто думал Хнум с горькой усмешкой в последние дни. Вот что произошло в доме его.

Мудрые знают, что тот мир, «второй Египет», совершенно подобен этому, хотя и обратным подобьем, как бы опрокинутым в зеркале; здесь всё к худу, к смерти, а там – к добру, к вечной жизни. Но и там, в небесных полях Иалу, справляют блаженные Ка, тени умерших, все полевые работы – пашут, сеют, жнут, собирают в житницы, и роют каналы, и строят дома. Для этих работ господам нужны рабы. Вот почему ставились в гробницах триста шестьдесят пять – по числу дней в году – глиняных куколок-мумиек: каждая – с заступом в руке, с мелким рабочим снарядом в мешке за плечами и с иероглифною на груди надписью: «Ты, Ушебти, Ответчик, такой-то, принадлежавший господину такому-то, буду ли я бран, буду ли я зван на работу, – стань за меня, выдь за меня, молвь за меня: „Здесь!“ В воскресение мертвых, когда оживут господа, оживут и рабы, Ответчики, и выйдут на работу в полях Иалу, потому что и там, как здесь, рабы работают, а господа празднуют».

Хнум заказал на пробу две дюжины Ответчиков гробовых дел мастеру, глинователю. Тот вылепил их так искусно, что можно было узнать по личикам куколок, кого из Хнумовых слуг изображает каждая: это нужно было для того,

чтобы душа могла найти свое тело.

Когда мастер принес куколки, Хнумовы рабы выбежали к нему навстречу и обступили его в воротах, у келийки привратника, старого Юбры, толкаясь, крича, смеясь и радуясь, как дети: каждому хотелось поскорее найти и узнать свою куклоку. «Где я? Где я?» – спрашивали все наперерыв.

Подошел и Юбра и тоже спросил: «Где я?» Мастер подал ему куклоку. Юбра взял ее в руки, осмотрел, попросил прочесть надпись и вдруг, точно бес в него вошел, вспоминали потом очевидцы, – весь потемнел, очугунел в лице, затрясся, закричал: «Не хочу! Не хочу!» – и, размахнувшись куклокой, грянул ее оземь, так что полетели только глиняные осколки. Все остолбенели. А он начал бить и другие куклоки, расставленные в порядке на гладильной доске из прачечной. Кинулись на него, хотели удержать, но долго не могли: отбивался, как бешеный. Наконец, когда перебил уже больше половины, осилили его, связали и повели на суд к Хнуму.

Святотатство было ужасное: всякая мумия, не только человеческая, но и звериная, есть тело самого умершего бога, Озириса-Аменти.

Когда Хнум спросил Юбру, зачем он это сделал, тот ответил тихо и твердо:

– Чтобы душу спасти. Здесь раб, а там свободен!

И больше ничего не могли от него добиться.

Хнуму казалось, что Юбра внезапно лишился рассудка или что, в самом деле, в него вошел бес. Жалко было старого, верного раба. Совсем его простить Хнум не мог, но наказал легко, даже бить не велел, а только посадил в яму; думал, опомнится. Но Юбра уже пятый день сидел и не опоминался.

А Хнумовой милости к нему была причина особая.

В молодости Хнум любил охотиться на крокодилов в Стране Озер, Миуэр, где было у него большое поместье у города Шедета, посвященного богу Солнца, Собеку, крокодилоглавному. Здесь, во время охоты, жилал он по нескольку дней.

Каждое утро, когда он еще лежал на ложе, приносила ему свежевымытую и выплоенную, белую одежду-рубаху искусная прачка, пятнадцатилетняя Маита, сестра-жена молодого садовника Юбры: бедные люди часто женились на сестрах, чтоб не делить имущества.

А в сумерки слышал Хнум, как на заднем дворе, где опускались в пруд мостки от прачечной, шлепал звонкий валеk по мокрому белью и детски-девичий голос Маиты пел:

На том берегу – сестра моя,
между нами – заводь речная,
крокодил – на отмели песчаной;
но в воду схожу я без страха,
вода для ног моих – суша;
любовь укрепляет мне сердце,
любовь – чара могучая!

Но по голосу ее слышно было, что она еще не знает, что такое любовь. «Скоро узнает», – думал с тихой жалостью Хнум. А однажды запела она другую песенку:

Говорит гранатовое дерево:
«Круглость плодов моих – груди ее,
зерна плодов моих – зубы ее,
сердце плодов моих – губы ее.
Что же делает с братом сестра,
пеною вин опьяненная, —
скрыто ветвями дремучими!»

И в первый раз послышалось Хнуму в детском голосе Маиты что-то недетское. «Будет как все», – подумал он уже без всякой жалости, и вдруг Сэтово пламя

пахнуло ему в лицо, похоть, как тарантул, укусила за сердце.

Знал, что ни люди, ни боги не осудят его, если он, господин, скажет рабе: «Взойди на ложе мое!» – так же просто, как сказал бы в жаркий день: «Дай мне пить!». Но Хнум недаром был человек справедливый и богобоязненный. Помнил, что, кроме жены Нибитуйи, у него двенадцать наложниц и сколько угодно прекрасных рабынь, а у Юбры – одна Маита. Отнимет ли господин последнюю овечку у раба своего? «Да не будет!» – решил он, уехал из Страны Озер и больше не возвращался туда.

Но Маиты не забыл. Пламя Сэтово попаляло кости его, как вихрь пустыни – стебли трав. Не ел, не пил, не спал; исхудал, как щепка.

Нибитуйе ничего не говорил, но она сама догадалась.

Однажды, в загородном доме близ Фив, рано поутру, когда он еще спал, разбудила его Маита, войдя к нему со свежeweымытою белою одеждою. Он подумал, что видит ее во сне или в видении; когда же понял, что наяву, спросил:

– Где брат твой, Юбра?

– Далеко-далеко, за морем, – ответила она и заплакала. Потом тихонько подошла к нему, села на край ложа, покраснела, потупилась и улыбнулась сквозь слезы:

– Госпожа прислала меня к господину моему. Вот, раба твоя!

И Хнум ее больше о Юбре не спрашивал.

Этот год был счастливейшим в жизни его, и счастливее всего было то, что Нибитуйя полюбила Маиту также, а, может быть, и больше, чем он. Ревновала его не к ней, а к другим женщинам и даже, странно сказать, к самой себе. А Хнум не знал, кого любит больше – госпожу или рабыню: эти две любви сливались в одну, как два запаха в одно благоуханье.

И теперь, через тридцать лет, вспоминая об этом, шептал он со слезами нежности к старой подруге своей: «Жужелица моя бедная!»

Юбру-садовника услала Нибитуя в Ханаан, собирать для Хнумовых садов заморские цветы и злаки. А когда он через год вернулся, Маиты уже не было в живых: умерла от родов.

Хнум облагодетельствовал Юбру: подарил ему прекрасный участок земли, четыре пары волов и новую жену, одну из своих наложниц. Помнил ли Юбра Маиту или забыл ее с новой женою – никто не знал, потому что он никогда не говорил об этом и виду не показывал.

Когда же состарился и не мог больше работать в поле, Хнум принял его в свой дом на почетную должность привратника.

Тридцать лет Юбра был послушным рабом и вот вдруг возмутился, сказал:

– Не хочу! Здесь раб, а там свободен.

Тридцать лет не думал Хнум, что сделал злое дело с Юброю, и вот вдруг подумал:

«Мертвые мухи портят благовонную масть мироварника; то же делает и одна малая подлость со всею жизнью человека почтенного!»

III

Глинобитные конусы-житницы стояли у задней стены житного двора. Наверху у каждой было круглое отверстие для ссыпки зерна, а внизу – оконце с подъемной дощечкой для высыпки.

Голые рабы, кирпично-смуглые, в белых передниках и белых скуфейках-потничках, всходили по лесенкам к верхним отверстиям конусов и ссыпали в житницы зерно, струившееся с тихим шелестом, как жидкое золото.

Это был новый хлеб с Миуэрских Озер. Хнум, глядя на него, вспомнил о голодных и велел им раздать целую житницу.

Потом прошел на скотный двор, где была яма-темница, четырехугольная, с кирпичными стенками, кирпичным помостом-крышей и зарешеченным в ней оконцем.

Хнум подошел к яме, наклонился к оконцу и услышал тихое пенье:

Хвала тебе, живой Атон, единый Бог,

Небеса сотворивший и тайны небес!

Ты – в небесах, а на земле – твой сын,

Радость-Солнца, Ахенатон!

Вдруг сидевший в яме, должно быть, увидев Хнума, запел громко и, как показалось ему, с дерзким вызовом:

Когда за край неба заходишь ты,

Жизнью твоею оживают мертвые;

Даешь ты дыхание ноздрям недышащим,

Расширяешь горло стесненное,

И, прославляя тебя из гробов своих,

Воздевают усопшие длани свои,

Веселятся под землею сущие!

Хнум отошел от ямы, вернулся в беседку у большого пруда и сел на прежнее место, рядом с Нибитуйей, продолжавшей пеленать своих жужелиц. Иниотеф начал читать новый нескончаемый счет хлебных кулей.

Хнуму сделалось скучно. Прислушался к зловещей тяжести в правом боку, под нижним ребром: страдал болезнью печени. Отец его умер от той же болезни в восемьдесят лет. «Может быть, и я умру, не насытившись днями», – подумал он.

Любил, чтобы каждый день приносили ему что-нибудь из могильного приданого. Сегодня принесли священного навозного жука – Хепэра, из лапис-лазури.

Золотой жук Солнца, Ра-Хепэр, катит по небу свой великий шар, так же как навозный жук по земле – свой маленький шарик. Солнце – большое сердце мира; сердце человека – малое солнце. Вот почему вкладывался в мумию, вместо вынутого сердца, солнечный жук Хепэр с иероглифною надписью – молитвой умершего на Страшном суде: «Сердце рожденья моего, сердце матери моей, сердце земное мое, не восставай на меня, не свидетельствуй против меня!»

«А мое-то, пожалуй, восстанет», – подумал Хнум, вспомнив о Юбре, и усмехнулся: «Удивительно! Нашли с чем сравнить солнце – с навозным жуком... Ну, да, впрочем, когда хорошо на сердце, и навоз – как солнце, а когда скверно, и солнце – навоз!»

Вспомнил другую молитву умерших:

«Да гуляет душа моя каждый день в саду, у пруда моего; да порхает, как птица, по веткам деревьев моих; да отдыхает в тени сикоморы моей; да восходит на небо и нисходит на землю, ничем не удержана».

«А может быть, все это вздор? – подумал он, как в молодости думывал. – Умрет человек – как пузырь на воде лопнет, – ничего не останется. И хорошо бы так, а то ведь, пожалуй, и там заскучаешь?..»

Видел однажды затмение солнца: только что был ясный день, и вдруг все потемнело, посерело, точно подернулось пеплом, и заскучало, замерло, умерло. Так вот и теперь: «Это от печени, – подумал он, – а также от Юбры...»

– С этим кончить надо, – проговорил вслух. – Ступай, приведи его сюда!

– Кого, господин? – спросил Иниотеф и посмотрел на него с удивленьем.

Нибитуйя тоже подняла глаза с тревогой.

– Юбру, – ответил Хнум.

В это время Дио и Пентаур сошли с крыши летнего дома в сад: Зенра доложила госпоже своей, что Тута прислал за нею лодку.

Когда они проходили мимо беседки у большого пруда, Хнум окликнул их и сказал:

– Буду сейчас судить Юбру, раба моего. Будьте и вы судьями.

Усадил Пентаура рядом с собою, а Дио села на циновку, рядом с Нибитуйей.

Привели Юбру со связанными за спиной руками и поставили на колени перед Хнумом. Это был маленький старичок со сморщенным, темным личиком, похожим на камень или глыбу земли.

– Ну что, Юбра, долго ли будешь в яме сидеть? – спросил Хнум.

– Сколько милости твоей будет угодно, – ответил Юбра, опустив глаза, как показалось Хнуму, с тем же вызовом, с каким давеча, сидя в яме, пел песнь Атону.

– Слушай, старик, я тебя помиловал, под суд не отдал, а знаешь, какая тебе по закону казнь? Закопают живым в землю или бросят в воду с камнем на шее.

– Ну что ж, пусть за правду казнят.

– За какую правду, за какую правду? Толком говори, что тебе тогда попритчилось, за что на святых Ушебти руку поднял?

– Я уж говорил.

– Скажи еще раз, язык не отвалится.

– За душу. Чтобы душу спасти. Здесь раб, а там свободен. Помолчал и потом заговорил вдруг изменившимся голосом:

– Там беззаконные перестают буйствовать, и там отдыхают истощившиеся в силах: узники вместе покоятся и не слышат голоса тюремщика; там малый и великий равны и раб свободен от господина своего!

Опять помолчал и спросил:

– Притчу о бедном и богатом знаешь?

– Какую притчу?

– Хочешь скажу?

– Говори.

– Жили на свете два человека, бедный и богатый. Богатый роскошествовал, а бедный мучился. И умерли оба, и похоронили богатого с почестью, а бедного бросили, как мертвого пса. И предстали оба на суд Озириса. Взвешены были дела богатого, и вот, злых дел его больше, чем добрых. И положили его под дверь, так что дверной крюк вошел ему в глаз и вертелся в нем, когда дверь открывалась и закрывалась. Взвешены были и дела бедного, и вот, добрых дел его больше, чем злых. И облекли его в ризу из белого льна и посадили за вечерю, одесную бога.

– Так-так-так. О ком же притча? О тебе и обо мне, что ли?

– Нет, обо всех. Видел я всякие угнетения, какие совершаются под солнцем, и вот, слезы угнетенных, а утешителя нет; и сила в руке угнетающего, а заступника нет. Сталкивают бедных с дороги, принуждают скрываться всех страдальцев земли; отторгают от сосцов сироту и с нищего берут залог. Из города стоны людей слышны, и вопиет душа убиваемых...

Вдруг поднял глаза к небу, и лицо его точно светом озарилось.

– Благословен Грядущий во имя Господне! Он сойдет, как дождь на скошенный луг и как роса на землю безводную; души убогих спасет и смирит притеснителей. И поклонятся Ему все народы, и будут служить Ему. Вот Он идет!

Хнум слушал со скукой; скука была та же, тот же темный свет в глазах, как при затмении солнца. И это все от Юбры. Позвал его на суд, а вот, как будто не он, господин, судит раба своего, а тот – его.

– Кто идет? Кто идет? – закричал он с внезапною злобою. Юбра ответил не сразу. Глянул на него исподлобья, как будто опять с насмешливым вызовом.

– Второй Озирис, – произнес, наконец, тихо.

– Что ты мелешь, дурак? Один Озирис, второго не будет.

– Нет, будет!

– Это он от Иадов – Пархатых – наслушался об ихнем Мессии, – заметил Иниотеф с презрительной усмешкой.

Юбра молча покосился и потом проговорил еще тише:

– Сына не было; Сын будет!

– Что-о? Сына не было? Ах ты окаанный! Так вот ты на кого руку поднял? – закричал в бешенстве Хнум.

«Печень в голову кидается», – говаривал лечивший его врач о таких внезапных припадках бешенства.

Весь побагровел, тяжело поднялся с кресла, подошел к Юбре, схватил его за плечо и потряс так, что он зашатался, как былинка.

– Вижу, вижу тебя насквозь, бунтовщик! Только смотри у меня, я шутить не люблю...

– Ухо раба на спине его: растянуть бы да выпороть, живо бы дурь соскочила, – поджигал Иниотеф.

Юбра молчал.

– У-у, змея подколодная, вишь, молчит, пришипился! – продолжал Хнум и, вдруг наклонившись еще ниже, заглянул ему в лицо: – Что я тебе сделал? Что я тебе сделал? За что ты на меня злобствуешь?

Если бы Юбра ответил прямо: «За то, что Маиту отнял», – может быть, гнев Хнума погас бы сразу: сердце восстало бы на него и обличило бы, как на Страшном суде. Но Юбра ответил лукаво:

– Я зла на тебя не имею...

И прибавил так тихо, что никто не слышал, кроме Хнума:

– Бог нас с тобой рассудит!

– Да ты что? Что у тебя на уме? – начал Хнум и не кончил; опустил глаза перед рабом – понял, что не так-то легко вынуть мертвую муху из благовонной масти мироварника.

– Ах ты, пес смердящий! – завопил он, уже не помня себя от бешенства: печень кинулась в голову. – Зла на меня не имеешь, а кто донес, кто донес царским сыщикам, что два Амонова лика у меня в гробнице не замазаны? Говори, кто?

– Я не доносил, а если бы и донес, вины моей бы не было: царь велел истреблять Амоновы лики, – ответил Юбра, как показалось Хнуму, уже с наглым вызовом.

– Так вот ты как, сукин сын, грозить мне вздумал? Ну, погоди ж, я тебя!

Поднял палку. Она была толстая, из крепкого, как железо, акацийного дерева: если бы опустил ее на голову Юбры, мог бы его убить. Но Бог спас обоих. Глаза их встретились, и точно Маита глянула на Хнума.

Медленно опустил он палку мимо головы Юбры, зашатался, упал в кресло, закрыл лицо руками и долго сидел так, не двигаясь. Потом отнял их от лица и, не глядя на Юбру, сказал:

– Вон! Чтоб духу твоего здесь не было. Ты мне больше не раб. Развяжите ему руки, пусть идет, и никто не смей его тронуть. Я его простил.

– Может быть, я и ошиблась, – говорила Дио Пентауру, проходя с ним через сад на канал, к Тутиной лодке. – Может быть, вы, египтяне, бунтовать умеете...

– По Юбре судишь? – спросил Пентаур.

– Да. Много у вас таких?

– Много.

– Ну, так не миновать бунта... А как странно, Таур: только что мы с тобой спорили, был Сын или будет, и вот здесь то же...

– То же везде, – ответил Пентаур.

– Из-за этого и бунт? – спросила Дио.

– Из-за этого. А ты рада?

Дио ничего не ответила, как будто задумалась. Пентаур тоже помолчал, подумал и сказал:

– Может быть, из-за этого мир погибнет...

– Пусть, – ответила она, и ему показалось, что огонь бунта уже горит в ее глазах. – Пусть погибнет мир, только бы Он был!

IV

Лодку подали к воротам Хнумова сада, выходившим прямо на Большой канал, которым южная часть города соединилась с северной – Апет-Ойзитом, где находился Престол Мира – Амонов храм.

Дио, узнав, что Тута отложил свидание с нею на несколько часов, решила провести с Пентауром эти, может быть, последние часы: все еще не знала наверное, едет ли завтра. Хотела также проститься с Амоновым храмом: полюбила этот величайший и прекраснейший в мире дом Господень за то, что

через него вошла в Египет.

Над необозримым множеством сереньких, низеньких, плоских, точно приплюснутых, слепленных из глины, домиков – ласточкиных гнезд, возвышались, окруженные стенами, три исполинских святилища – Амона, Хонзу и Мут – Отца, Сына и Матери. Тут же, внутри стен, были рощи, сады, пруды, скотные дворы, погреба, житницы, пивоварни, мироварни и прочие службы – целый город в городе – Град Божий в граде человеческом.

С новым царствованием все это запустело: святые ограды были разрушены, сокровищницы разграблены, святилища заперты, жрецы разогнаны и боги поруганы.

Доехав по каналу до священной дороги Овнов, Дио села с кормилицей Зенрой в носилки, а Пентаур пошел рядом.

Завернув направо, на боковую дорогу, к святилищу Мут, вошли в ограду его, через северный вход.

Здесь лунным серпом серебрилось священное озеро бога Хонзу – Озириса Лунного. Розовый гранит обелисков, черный базальт колоссов, желтый песчаник пилонов, зеленые верхушки пальм – все, облитое червонным, уже вечереем золотом солнца, опрокинулось в воде, как в зеркале, с такою четкостью, что видны были каждое перышко в радужных крыльях Соколов – Солнц на челе пилонов и каждый иероглиф в многоцветной, по желтому песчанику, росписи – россыпи драгоценных камней по золоту: как будто там, внизу, был тот мир, обратно подобный этому, – совсем такой же и совсем другой.

В ямах, вырытых на берегу озера, должно быть, нарочно, чтобы осквернить святые воды, добывали кирпичную глину. Озеро здесь обмелело, тинистое дно обнажилось, и загнивавшая в лужах вода отливала радугой. Тут же повалено было лицом в грязь исполинское, из темно-красного песчаника, изваяние бога Амона, и распряженный буйвол, стоя по колено в воде, чесал облепленный грязью, косматый бок об острый конец одного из двух перьев в божеской тиаре, и от него смердело свинятником.

Рядом с ямами было незапамятно-древнее святилище двух богинь Матерей – Лягушки-Гекит и Туарт-Гиппопотамихи.

При начале мира выползла из первичного ила божественная Лягушка, Повивальная Бабка, и тотчас начала помогать всем родильницам; помогла и рождению Хонзу-Озириса, сына божьего; помогает и каждому умершему воскреснуть – родиться в вечную жизнь. Так же скоропомощна в родах и Туарт-Гиппопотамиха.

Медные двери святилища были заперты и запечатаны; но в притворе, в двух сводчатых впадинах стен, за драными завесами, скрывались от царских сыщиков обе богини. Огромная, из зеленой яшмы, Лягушка, с круглыми, желтыми стеклянными глазами, добрыми и умными, сидела на своем престолике-кубике. А Гиппопотамиха, из темно-серого обсидиана, в женском парике, с тупым рылом свинухи, со свирепым оскалом зубов, отвислыми сосцами и толстым брюхом беременной женщины, стояла на задних лапах и держала в передних – знак вечной жизни – Крестный Узел.

Двенадцатилетняя беременная девочка, эфиоплянка, обвив шею богини вязью лотосов, упала перед нею на колени и горячо, с детскими слезами, молилась о благополучном разрешении от бремени.

Зенра хотела принести двух горлинок в жертву богиням Матерям за Дио, вечную деву, не-мать, чтобы, наконец, сделалась матерью.

Вошли в притвор. Здесь старушка-жрица, немного похожая лицом на свою богиню Лягушку, купала в медном чане с теплой водой двух священных ихневмонов, водяных зверьков, полукошек, полукрыс, любезных богу наводнений, Хнуму-Ра. После купанья они разбежались, играя: самец погнался за самочкой.

– Пю-пю-пю! – подозвала их жрица тихим чмоканием и начала кормить из рук размоченной в молоке хлебной мякотью, бормоча молитву о благом разлитии вод.

Потом, сойдя к озеру, закликала:

– Соб! Соб! Соб!

На другом конце озера забурлила вода, и, высунув из нее глянцевито-черную, как тина, голову, быстро поплыл на зов огромный, локтей в восемь длины, крокодил, зверь бога Собека, Полночного Солнца. На передних лапах его блестели медные, с бубенчиками, кольца, в ушах – серьги, а в толстую кожу черепа вставлено было, вместо похищенного рубина, красное стеклышко. Он был такой ручной, что давал себе чистить зубы акацийным углем.

Выполз из воды на лестницу и растянулся у ног жрицы. Сидя на корточках, она кормила его мясом и медовыми лепешками, принесенными Зенрой, бесстрашно всовывая в разинутую пасть зверя левую руку; от кисти правой оставался только обрубок: ее отгрыз крокодил, когда она была еще девочкой.

– Лучше бы он тогда всю меня съел, – говорила старушка, – не видали бы глаза мои того, что нынче творится...

Не договаривала: «При царе-богоотступнике».

Быть пожранным священным крокодилом почиталось блаженным концом: ни умащать, ни хоронить не надо – прямо из святого чрева в рай.

С материнской нежностью гладила старушка зверя по жестким черепьям спины и называла «Собенькой», «дитяткой», «батюшкой». И чудно было видеть, как свиные глазки чудовища светились ответной лаской.

– Ну что, как тебе понравилась наша крокодилья матушка? – спросил Пентаур Дио, улыбаясь, когда они вышли из притвора, оставив в нем Зенру и отправив носилки вперед.

– Очень понравилась, – ответила Дио, тоже улыбаясь.

– Смеешься?

– Нет. Ваша Мут и наша Ма – одна Небесная Матерь, благословляющая всю земную тварь.

– А как же ты?.. – начал он и не кончил. Но она поняла: «Как же ты убила бога Зверя?»

– По нашей тайной мудрости, – заговорил он, спеша, чтобы скрыть ее и свое смущение, – ближе человека к Богу зверь, ближе зверя злак, ближе злака персть, Мать Земля; и глыба раскаленной персти – солнце, сердце мира – Бог.

– А он этого не знает? – спросила Дио.

– Не знает, – ответил Пентаур, поняв, что она говорит о царе Ахенатоне. – Если бы знал, не ругался бы над Матерью...

«А может быть, и я, вечная дева, не-мать, тоже чего-то не знаю», – подумала Дио.

Шли от святилища Мут к храму Амона по священной дороге Овнов, исполинских, изваянных из черного гранита, уставленных в ряд по обеим сторонам дороги. У каждого на темени, между завитыми книзу рогами, был солнечный диск Амона-Ра, а между поджатыми передними ногами – маленькая, точно детская, мумийка покойного царя Аменхотепа, отца Ахенатона: бог-зверь обнимал умершего, как будто нес его в вечную жизнь.

Все они, казалось Дио, смотрели на нее так, как будто хотели сказать: «Богоубийца».

Подошли к пилону – огромным, отдельно от храма стоящим вратам, подобью усеченной пирамиды, с радужно-пернатым шаром солнца на челе и высокими для флагов мачтами. По обеим сторонам пилона два гранитных великана, совершенно одинаковых, изображали царя Тутмоса Третьего, Ахенатона прапрадеда, первого всемирного завоевателя.

В божеских тиарах сидели они на престолах, сложа руки на коленях, в вечном покое, с вечной улыбкой на плоских губах. А над ними ветхие флаги сломанных мачт трепались жалкими отрепьями. Птицы, свившие гнезда в тиарах, громко кричали, точно смеялись, и стекал по черным лицам белыми струями птичий помет.

Пентаур прочел вслух иероглифную надпись пилона – речь бога к царю:

– «Радуйся, сын мой, почтивший меня. Я отдаю тебе землю В долготу и в широту. С радостным сердцем пройди ее всю победителем».

И ответ царя богу:

– «Я вознес Египет во главу народов, ибо вместе со мной почтил он тебя, бога Амона Всевышнего».

По тому, как читал Пентаур, Дио поняла, что он сравнивает великого прадеда с ничтожным правнуком.

Пройдя через пилон и оставив налево дорогу к святилищу Хонзу, вышли на площадь. Здесь люди всякого звания, от рабов и нищих до знатных господ, стояли молча, отдельными кучками, как будто ожидали чего-то, и, когда проходила дозором городская стража, поглядывали на нее издали, угрюмо. Все было тихо, но Дио вдруг вспомнила: «Бунт!»

Кто-то подошел к Пентауру сзади, крадучись. По шерстяному, полосатому ханаанскому плащу сверх египетской белой одежды-рубahi, по рыжим, длинным, висевшим вдоль щек кудрям, рыжей козлиной бороде, оттопыренным ушам, крючковатому носу, толстым губам и слишком горячему блеску глаз Дио сразу узнала израильтянина – по-египетски, Иада – Пархатого. К слову этому так привыкли, что оно перестало быть бранным.

Пентаур что-то шепнул ему на ухо; тот молча кивнул головой, взглянул на Дио и скрылся в толпе.

– Кто это? – спросила Дио.

– Иссахар, сын Хамуила, младший жрец Амона.

– Как же Иад, Пархатый, – жрец?

– По отцу Иад, а по матери египтянин. Ихний пророк Моисей тоже был жрецом в Гелиополе.

– А отчего же не брит?

Дио знала, что все египетские жрецы бреют головы.

– Прячется от царских сыщиков, – ответил Пентаур.

– О чем ты с ним говорил?

– О твоём свидании с Птамозом.

Подшли к западным вратам Амонова храма, горевшим на солнце, как жар, листовым червонным золотом, с иероглифами из темной бронзы – тремя словами: «Амон, Великий Дух». Слово «Амон» было стерто, но в двух оставшихся была тем большая хвала Неизреченному.

Стража стояла у запертых и запечатанных врат. Тут же люди, падая ниц, целовали пыль священных плит и молились шепотом: за произнесенное громко имя Амона хватили и сажали в тюрьму.

Дио показала страженачальнику перстень с печатью Тутанкатона, и он пропустил ее с Пентауром в боковую дверцу врат.

Вошли во внутренний двор с рядами таких исполинских столпов – связанных стеблей папируса, что трудно было поверить, что это – создание человеческих рук; сам Великий Дух, казалось, взгромоздил эти вечные камни в немую хвалу себе, Неизреченному.

Со двора вступили в крытые сени, где дневной свет падал скудно из узких окон под самым потолком. На дворе было солнечно, а здесь уже сумерки, и еще огромное казался в них дремучий лес столпов, пропахший насквозь древним ладаном, как настоящий лес смолой. Было тихо, тоже как в лесу; только где-то в вышине раздавались слабые звуки; похоже было на то, что дятлы стучат по деревьям: «стук-стук-стук» – тишина, и опять: «стук-стук-стук».

Дио подняла глаза и увидела: каменщики в люльках на длинных веревках, как пауки на паутинках, рея в вышине, у стен и столпов, стучали по ним молотками.

– Что они делают? – спросила она.

– Истребляют Амоново имя, – ответил Пентаур, усмехаясь.

Усмехнулась и Дио; глупым показался ей этот слабый стук: как истребить имя Неизреченного?

По мере того как шли они, углубляясь во внутренность храма, стены стеснялись, потолки нависали все темнее, грознее, таинственнее, и, наконец, обнял их почти совершенный мрак; только где-то вдали тускло теплилась лампада. Здесь было Святое Святых – Сехэм, – вырубленная в цельной глыбе красного гранита скинийка, где некогда скрывалось за льняными завесами, парусами священной ладьи, маленькое, в локоть, золотое изваяньице бога Амона. Теперь Сехэм был пуст.

Узкий, как щель, проход вел из Сехэма в другую скинийку, где в прежние дни возлежал на ложе из пурпура, в вечном дыму благовоний великий Амонов Овен, божественное Животное, – живое сердце храма. Но теперь и эта скинийка была пуста; говорили, будто в нее брошены кости мертвого пса, чтобы осквернить святыню.

– А он и Божьего мрака не знает? – спросила Дио.

– Не знает, – ответил Пентаур, опять поняв, что «он» – царь. – Знает, что Бог – свет, а что свет и мрак вместе, не знает.

Пентаур стал на колени, и Дио – рядом с ним; он начал молиться, и она повторяла за ним:

Слава Тебе, во мраке живущий,
Амон – Сокровенный,
Владыка безмолвных,
Заступник смиренных,
Спаситель низверженных в ад!
Когда вопиют они: «Господи!» —
Ты приходишь к ним издали

И говоришь: «Я здесь!»

Пали ниц, и волосы на голове у Дио зашевелились от ужаса:

«Он здесь!»

Вышли из храма через восточные врата, где ожидали носилки. Сели в них и поехали в только что построенный царем Ахенатоном маленький храм Гэм-Атон, Сияние Солнца.

Тысячу лет строился храм Амона из огромных каменных глыб – целых скал, а этот – из камешков, наскоро; тот весь был сокровенный, уходящий во мрак, а этот – открытый, солнечный. Никаких божеских ликов не было в нем, кроме Атонова диска с простертыми вниз лучами-руками.

Вошли в один из притворов, где плоское на стене изваяние изображало царя Ахенатона, приносящего жертву богу Солнца.

Дио взглянула на него и остолбенела. Кто это? Что это? Человек? Нет, иное, неземное существо в человеческом образе. Ни мужчина, ни женщина; ни старик, ни дитя; скопец-скопчиха, дряхлый выкидыш. Страшно исхудалые ноги и руки, как ножные и ручные кости костяка; узкие, детские плечики, а бедра широкие, пухлые; впалая, с пухлыми, точно женскими, сосцами грудь; вздутый, точно беременный, живот; голова огромная, с тыквоподобным черепом, тяжело склоненная на шейке, тонкой, длинной и гнущейся, как стебель цветка; срезанный лоб, отвислый подбородок, остановившийся взор и блуждающая на губах усмешка сумасшедшего.

Дио, вглядываясь в это лицо, все хотела что-то вспомнить и не могла. Вдруг вспомнила.

В загородном, близ Фив, Чарукском дворце, где родился и провел детство Ахенатон, видела она изваянную голову его: мальчик, похожий на девочку; круглое, как яичко, лицо, с детски-девичьей прелестью, тихое-тихое, как у бога, чье имя: «Тихое Сердце».

Снится иногда человеку райский сон, как будто душа его возвращается на свою небесную родину, и долго, проснувшись, он не верит, что это был только сон, и все томится, грустит. Такая грусть была в этом лице. Длинные ресницы опущенных, как бы сном отяжелевших, век казались влажными от слез, а на губах была улыбка – след рая – небесная радость сквозь земную грусть, как солнце сквозь облако.

«Неужели эти два лица одно?» – думала Дио. Точно в бреду, прекрасное лицо исказилось, становилось дряхлым страшилищем, и страшнее всего было то, что сквозь новое сквозило прежнее.

– Ну что, не узнаешь? – шептал ей Пентаур; ужас был в шепоте его и смех – торжество над врагом. – Да, трудно узнать. А ведь это он, он сам, Радость-Солнца, Ахенатон!

– Как смели так надругаться над ним! – воскликнула Дио.

– Кто посмел бы, если бы сам не хотел? Сам учит художников не лгать, не льстить. «В-правде-живущий». Анк-эм-маат, назвал себя сам, – и вот в чем правда; не захотел быть человеком, – и вот чем стал!

– Нет, не то, не то, – произнес чей-то голос за спиной Дио. Она оглянулась и увидела Иссахара, сына Хамуилова.

– Нет, не то. Злее, хитрее обман! – говорил он, глядя в лицо изваянья.

– Какой обман? – спросила Дио.

– А вот какой, слушай пророчество: «Сколь многие ужасались, глядя на Него; так обезображен был лик Его, больше всякого человека, и вид Его – больше сынов человеческих. И мы отвращали от Него лицо свое. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Казнь мира нашего была на Нем, и ранами Его мы исцелились». Знаешь, о Ком это сказано?.. А этот кто? Проклят, проклят, проклят обманщик, сказавший: «Я – Сын».

Медленно, как будто с усилием, отвел он глаза от лица изваянья, взглянул на Дио, наклонился и шепнул ей на ухо:

– Первосвященник Амона ждет тебя сегодня в третьем часу по заходе солнца.

И, накинув плащ на голову, вышел из храма.

Долго стояла Дио в оцепенении. Задумалась так, что не слышала, как Пентаур дважды окликнул ее, а когда он тихонько прикоснулся к руке ее, вздрогнула.

– Что ты? О чем думаешь? – спросил он.

– Так, сама не знаю, – ответила она со смущенной, как будто виноватой, улыбкой и, помолчав, прибавила:

– Может быть, все мы не знаем о нем чего-то самого главного...

И, еще помолчав, воскликнула с такою мукою, казалось Пентауру, с какою умирающий от жажды просит пить:

– О, если бы знать, кто он, кто он, кто он!

V

Тутанкатон-Тута пустил о себе слух, будто он сын царя Аменхотепа IV, Ахенатона отца. Тутина мать, Меритра, была царскою наложницей, из однодневных, каких у царя было множество. Но злые языки уверяли, что Тута сын не царя, а царского тезки, Аменхотепа, начальника Межевого приказа. Благодаря матери маленький Тута получил сан царевичева сверстника и быстро пошел в гору: царский постельничий, главный опахалоносец одесную благого бога-царя, казначей царского дома, хлебодар Обеих Земель, великий ревнитель ученья Атонова и, наконец, царский зять, супруг Анкзембатоны, двенадцатилетней царской дочери.

Никто не умел так набожно, как он, закатывать глаза и шептать таким елейным шепотом:

– О, сколь спасительно учение твое, Уаэнра, Сын Солнца Единородный!

И сочинять таких благочестивых гробничных надписей.

«Рано вставал каждое утро Сын Солнца, Ахенатон, дабы просвещать меня светом своим, ибо я был ревностен в исполнении слова его», – сказано было в одной из этих надписей. И в другой:

«Тебе последовал я, Боже, Атон-Ахенатон!»

Это отождествление царя с богом казалось нелепым и кощунственным, потому что всем было известно, что Атон – Отец, а царь – Сын. Но когда узнали, что в этих словах выражено тайное учение царя о совершенном единстве Отца и Сына, то все ахнули, дивясь Тутиной хитрости.

Царедворцы старались наперерыв похулить старого бога Амона. Но Тута и в этом превзошел всех: заказал себе плетенные из золотых ремешков лапотки с Амоновым ликом на подошвах, чтобы с каждым шагом попирать окаянного. И все опять ахнули – поняли, что он далеко уйдет в этих лапотках.

В Нут-Амок, Фивы, послан был Тута в сане царского наместника, для исполнения двух указов: об отнятии у жрецов гробничных земель и о поругании бога Хонзу, Амонова Сына.

Когда Дио вошла в Белый Дом наместника, знакомый старичок-служитель встретил ее низкими поклонами и хотел доложить о ней его высочеству. Но, узнав, что Тута ужинает с начальником ливийских наемников, Менхеперра, человеком ей неприятным, она сказала, что подождет, прошла во внутренний покой и легла на низкое дневное ложе. Глядя, как вечернее солнце сквозь узкие и длинные окна-щели под самым потолком откидывает на белизну его косые розовые четырехугольники, опять глубоко задумалась, как давеча, в притворе Гэм-Атона: «ехать – не ехать?»

Устала думать, задремала. Две большие мухи жужжали у нее над самым ухом, точно спорили: «ехать – не ехать?»

Вдруг очнулась и поняла, что это не мухи жужжат, а кто-то шепчется очень близко, над самым ухом ее. Оглянулась – никого. Шептались в соседнем покое, за решетчатой стенкой, завешенной ковром; египетские горницы разделялись иногда для прохлады такими стенками. Двое шептавшихся сидели, должно быть, на полу, на циновках, рядом с ложем, на котором лежала Дио.

– Эх, изжога проклятая, – слышался один из двух шепотов, почтенный, старческий.

– Это от гусиной печенки, тятенька, – ответил другой, тоненький, почтительный. – Хочешь телеку? Лучше нет, как телек, для желудка; с лимонцем-кардамонцем, освежительно!

– Пей и ты, Воробей!

– За твоё здоровье, тятенька.

– Что ты меня тятенькой зовешь?

– Из почтения: благодетель – всё равно что отец!

– Это хорошо, что ты стариков почитаешь. А Воробьем тебя за что прозвали?

– За то, что из всякого дельца клюю по зернышку, как из навозной кучки воробушек.

– Полно, брат, не прибедняйся: хапнул, небось, намедни от кладбищенских воров человека со свинкою.

Дио вспомнила, что человек, держащий за хвост свинью – иероглиф лапис-лазури, любимой взятки египетских чиновников, – Хез-бэт: хез – «держатель», бэт – «свинья»; и что кладбищенские воры недавно ограбили могилу древнего царя Зеенкеры.

– Ну так вот, я и говорю: глуп Ахмес, сын Абана, ждать добра от него нечего, – продолжал старческий шепот. – Глупого в ступе толки вместе с зерном – не отделится от него глупость его, и лучше встретить лютую медведицу в поле, чем

глупого в доме.

– Чем же он так глуп, тятенька?

– А тем, что носа по ветру держать не умеет. Непокойно в городе, а тут еще ливийские наемники, жалованья полгода не получавши, бунтуют. А он, дурак, бунта боится пуще всего. Вот и обрадовался, как пришло намерение из царской казны жалованье; тотчас велел отправить для раздачи. Ну, а я, не будь глуп, ничего ему не сказавши, отправку задержал и донес о том его высочеству, государю наместнику. И что ж бы ты думал? Благодарить изволили, назвали умницей, потрепали по щеке и взять к себе на службу обещали. Ловко?

– Ловко, тятенька! У кого учиться, как не у тебя?.. Ну, а если и вправду начнется бунт, – беда?

– Кому беда, а кому польза. Глупый в огне горит, а умный на нем руки греет...

Шепот сделался так тих, что Дио перестала слышать. А потом опять громче:

– Не может, не может этого быть, тятенька! У кого на такое дело рука подымется?

– Иссахара, сына Хамуилова, знаешь?

– Да ведь он трус, куда ему, Иаду – Пархатому!

– Трус, да бешеный. Все они таковы, Иады: трусы, а как до ихнего Бога дело дойдет, лезут на стену... Да тут и не он один: он только нож в руке, а рука за ним сильная. Скоро, брат, такие начнутся дела, что в обоих ушах зазвенит!

– Ох, тятенька, страшно...

– А ты не робей, Воробей, – будешь соколом!

Дио слушала, и сердце у нее билось так, что казалось, услышат за стенкой. Понимала, что где-то очень близко готовится злое и подлое дело против царя, – и сама она в нем как будто участвует; не оттого ли и мучается так: «ехать – не

ехать?»

Вдруг из соседнего покоя, не того, где шептались, а другого, слышались шаги. Обе половинки дверей распахнулись, и тихо-тихо, как тень, вошла в них огромная, черная охотничья кошка, полупантера, а за нею, как будто ее почетные спутники, – скороходы, опахалоносцы, телохранители; и, наконец, ступая босыми ногами – обувь снималась в домах, – так же тихо, как кошка, вошел молодой человек небольшого роста, легкий, ловкий, стройный, с обыкновенно-приятным лицом, в простой белой одежде, в черном, гладком парике, в широком, до половины груди, ожерелье, с длинным, в руке позолоченным деревянным посохом, увенчанным золотым изваяньем богини Маат – Истины. Это был настоящий или мнимый сын царя Аменхотепа, царский зять, наместник Фив, Тутанкатон.

Подойдя к резному, из слоновой кости и черного дерева, креслу, стоявшему посередине комнаты, на низком помосте, между четырех столбиков, он сел на него. Дио подошла к нему и стала на колени. Он поцеловал ее в лоб и сказал:

– Радуйся, дочь моя! Милость бога Атона да будет с тобою! Ступайте все, – прибавил, обернувшись к спутникам.

Когда все вышли, он встал, подошел к ложу, сел на него с ногами, взглянул на Дио и молча указал ей на место рядом с собою, но сделал это не очень заметно, а как бы надвое: захочет – увидит, не захочет – нет. Не увидела – села против него, на складной ременчатый стул.

Кошка подошла к ней и начала тереться об ее ноги, тыкаясь мордой в колени и слишком громко, не по-кошачьи, мурлыкая. Дио не любила кошек, а этой особенно: ей казалось, что это огромная, черная, скользкая гадина. С Тутой никогда не разлучалась она: всюду ходила за ним, как тень.

– Что ты тут одна сидишь? Отчего доложить не велела? – спросил он голосом тихим и ласковым, похожим на кошачье мурлыканье.

– У тебя был гость.

– Твой же поклонник, Менхеперра. Оттого и не вошла?

– Оттого.

– Ах, дикая... Поди сюда, Руру! – позвал он кошку. – Надоела тебе?

– Нет, ничего, – сказала Дио из учтивости: охотно бы оттолкнула слишком ласковую гадину.

– Удивительно! – заговорил он, улыбаясь и глядя на нее тем особенным мужским взглядом, который был ей противен: «Точно пауки по голому телу ползают», – говорила она об этих взглядах. – К тебе нельзя привыкнуть, Дио: каждый раз, как видишь тебя, удивляешься, что так хороша... Ну, прости, не буду, знаю, что ты этого не любишь!

Кошка подняла морду и заглянула ей прямо в глаза огненными зрачками. Дио оттолкнула ее тихонько ногою: страшно было, что вскочит на колени.

– Ах, несносная! – рассмеялся Тутта, схватил ее за ошейник, втащил на ложе, уложил и нахлопал: спи!

– Ну, так как же? Едешь? – начал он уже другим, деловым голосом. – Стой, погоди, сразу не отвечай. Я тебя не тороплю; только подумай, что ты тут делаешь, чего ждешь? Учишься плясать по-нашему? Зачем? Пляши по-своему – еще больше понравится. У нас теперь чужое лучше своего...

– Я решила...

– Стой, погоди, дай кончить. Я уеду, останешься одна, а время нынче такое – не знаешь, что будет завтра...

– Да еду же, еду!

– Ну-у? Правда? Ой, опять обманешь?

– Нет, теперь уж сама хочу поскорей.

– Отчего же так вдруг захотела?

Она ничего не ответила и спросила:

– Завтра едешь? наверное?

– Завтра. А что?

– В городе, говорят, неспокойно.

– Пустяки. К завтраму все кончится. Ну, конечно, город большой, дураков много; может быть, и пойдут умирать за своего болванчика. Тогда, делать нечего, не обойдется без крови...

Дио поняла, что «болванчик» – кумир бога Хонзу.

– А царь об этом знает? – спросила она.

– О чем?

– Что, может быть, без крови не обойдется?

– Нет, не знает. Зачем ему знать? Отменит указ? Этот отменит – другие останутся. Да и как быть? Крови не проливши, дураков не научишь!

Он вдруг привстал на ложе, опустил ноги на пол, придвинулся к ней, взял ее за руку и чуть-чуть усмехнулся, как будто подмигнул глазком, опять надвое: захочет – увидит, не захочет – нет.

– А что, Дио, давно я хотел тебя спросить, за что ты меня невзлюбила. Я тебе всегда был другом. Таммузадад спас тебя, но ведь и я кое-что сделал...

Дио вздрогнула и отняла руку. Он это заметил, но виду не подал и продолжал усмехаться, ожидая ответа.

– Отчего ты думаешь?.. – начала она и не кончила, опустила глаза, покраснела. Чувствовала себя, как всегда наедине с ним, связанной, неловкой, точно виноватой в чем-то и застигнутой врасплох.

– Зачем я тебе нужна? – спросила внезапно, почти грубо.

– Ну вот, совсем как Руру: я к тебе с лаской, а ты меня ножкой! – рассмеялся он добродушно-весело. – Зачем нужна? Женская прелесть – великая власть...

– Через меня хочешь власть получить?

– Не через тебя, а с тобой! – проговорил он тихо и восторженно, глядя ей прямо в глаза.

– И для него ты мне нужна, – продолжал, помолчав. – С ним очень трудно; ты мне поможешь: любишь его, я тоже, – вместе будем любить...

Она поняла, что он говорит о царе Ахенатоне, и сердце у нее забилося так же, как от давешнего шепота за стенкою. Чувствовала, что надо что-то сказать, сделать, но оцепенение бреда нашло на нее, как тихая чара: хотела и не могла оттолкнуть слишком ласковую гадину.

– Все еще не была у Птамоза? – вдруг спросил он так, как будто они часто говорили об этом; но никогда ни слова о Птамозе между ними не было сказано. Опять настиг ее врасплох, уличил, как маленькую девочку в шалости.

– У какого Птамоза? – притворилась она непонимающей, но так искусно, что самой сделалось стыдно.

– Ну, полно! – проговорил он и опять усмехнулся, как будто подмигнул ей глазком. – Не донесу, не бойся, никто не узнает. А если бы и узнали, что за важность? Я бы и сам послал тебя к нему. Вещий старик, умница. Все тебе скажет: узнаешь, из-за чего война. Только болтуны да льстецы придворные думают, что мы уже победили. Нет, веру отцов не так легко победить. Старики не глупее нашего были. Амон – Атон, из-за одной ли буквы спор? Нет, из-за духа. Воистину Амон – Великий Дух!

Переходя давеча с кресла на ложе, он захватил с собою посох с парой подвязанных к нему на ремешках золотых лапоток. Вдруг Дио наклонилась, взяла один из них, повернула подошвой вверх и указала пальцем на Амонов лик.

– А это у тебя что, государь-царевич? «Амон – Великий Дух»? – спросила, усмехаясь с таким презрением, уже почти нескрываемым, как будто, в самом деле, говорила с гадиной.

– А-а, поймала! – рассмеялся он опять добродушно. – Ах, Дио, Дио, жрица Великой Матери, ты все еще на своей Горе живешь – к нам, бедным людям, на землю не сходишь! А ведь сойдешь когда-нибудь, запачкаешь ножки в грязи, изранишь о камни – и рада будешь вот и таким лапоткам. Надо быть милосердным к людям, мой друг. Сам будь трезв и постен, а с обжорой ешь, с пьяницей пей. Ну, а Великий Дух, надеюсь, меня простит: ничего ему от лапоток моих не станется!

Долго еще говорил о тайной мудрости избранных и о безумьи толпы, о величии царя Ахенатона и его одиночестве – «тоже с горы не сходит», – об их будущем тройном союзе и о том, как он, Тута, поможет им обоим «сойти с горы».

Дио слушала, и опять находила на нее тихая чара – ни очнуться, ни крикнуть.

«Нет, он не глуп, – думала она. – Или глуп и умен, груб и тонок вместе. Очень силен – не он, а тот, кто за ним». «Он только нож в руке, а рука за ним сильная. Говорит со мной, как с маленькой, да и с царем, должно быть, так же; а может быть, и прав: мы – дети, он – взрослый; мы „не совсем люди“, а он – совсем человек. Весь для мира, и весь мир для него. Ну, как же такому не царствовать? Будешь, будешь, кот, мышинным царем!»

Послышался стук в дверь.

– Войди, – сказал Тута.

Сотник дворцовой стражи вошел и, преклонив колена, подал Туте письмо. Он распечатал, прочел и сказал:

– Колесницу!

А когда сотник вышел – встал, молча прошелся по комнате, сел в кресло, облокотился, опустил голову на руки и тяжело вздохнул:

– Ах, дураки, дураки! Так я и знал, что без крови не обойдется...

– Бунт? – спросила Дио.

– Да, в Заречьи уже началось. Кажется, ливийские наемники пристали к бунтовщикам.

Грустно было лицо его, но радость сияла сквозь грусть. Дио поняла: бунт – начало, а конец – престол.

Встал, вернулся к ложу, взял посох, отвязал от него лапотки, надел их и сказал:

– Ну, делать нечего, пойдём усмирять бунт!

VI

«Будет великий бунт, и перевернется земля вверх дном, как вертится гончарный круг горшечника», – вспоминая эти слова Ипувера, пророка древних дней, Юбра жадно ждал исполнения пророчества. «Как бы без меня не началось!» – думал он, сидя в яме. А когда Хнум выгнал его из дома – взял в руку посох, закинул котомку за спину и побрел, куда глаза глядят, с таким видом, как будто весь век был бездомным бродягой.

Вспомнив старого приятеля, лодочника Небру, решил повидаться с ним и пошел на Ризитскую пристань. Но на пристани узнал, что тот, кончив работу, вечеряет в соседней харчевне, на Хеттейской площади.

Юбра устал; ноги у него болели от только что снятых колодок. Присел отдохнуть на кучу сваленных кулей на набережной.

Солнце заходило за голые, желтые скалы Ливийских гор, источенные устьями гробов, как пчелиные соты. Внизу, на поемных лугах Заречья, и дальше, над Городом Мертвых, где вечно кипели котлы умастителей и черными клубами клубился асфальтовый дым, была уже тень; только у храма – усыпальницы Аменхотеповой, в конце священной дороги Шакалов, два обелиска тускло рдели

золотыми остриями, как потушенные свечи – тлеющими светильнями.

Левый берег был в тени, а правый все еще в солнце, и медно-красными казались в нем смуглые, голые грузчики, таскавшие с лодок, по сходням, глиняные кувшины и кули с благовоньями – галаадским бальзамом и стираксом, аравийским сандалом и миррою, пунтийским фимиамом и корицею – куреньями богов и умащеньями мертвых. Пристань вся пропахла ими; но и сквозь них слышался смрад выброшенной рекой и валявшейся тут же, на берегу, падали. Ее пожирала тощая, с выступавшими ребрами, сука.

Вдруг два белых орла с хищным клекотом и шумным хлопаньем крыльев слетели на падаль. Спугнутая сука отскочила и смотрела на них издали, поджав хвост, злобно ощерившись, визжа и дрожа от голодной зависти.

Но еще большая зависть горела в глазах исхудалой нищенки, пришедшей за хлебом из удела Черной Телицы, где люди пожирали друг друга от голода. Страшно-отвислый, сморщенный, почернелый, точно обугленный, сосед закинула она к сидевшему у нее за спиною, в плетеном кузовке, грудному ребеночку. Яростно кусал и жевал он его беззубыми деснами, но не мог высосать ни капли молока и уже не плакал, а только тихо стонал.

– Хлебца, миленький! Три дня не евши, – простонала нищенка так же тихо, как ребеночек, подойдя к Юбре и протянув к нему руки.

– Нет у меня ничего, бедная, прости, – ответил он и подумал: «Скоро голодные будут сыты!»

Встал и пошел. Пошла и она за ним издали, как приبلудная собака идет за прохожим с добрым лицом.

Рядом с ними, по насыпной, углаженной для тяжести дороге от пристани к городу, около полутора тысячи военнопленных рабов и осужденных преступников тащили за четыре толстых каната, на огромных полозьях, роде саней, исполинское, гранитное, только что сплавленное по реке изваяние царя Ахенатона. Работоначальник, старичок с умным и строгим лицом, стоя на коленях исполина, сидевшего на престоле, казался пред ним карликом; то похлопывал он в ладоши, отбивая лад песни, затянутой рабочими, то покрикивал на них и помахивал палочкой, управляя всем этим человеческим множеством,

как пахарь – упряжкой волов. А впереди человек поливал дорогу водою из лейки, чтобы полозья саней не воспламенились от трения.

Туго, как струна, натянутый канат резал людям плечи и сквозь войлочные валики; пот катился градом с низко опущенных лиц; мышцы пружились; жилы, точно готовые лопнуть, вздувались на лбах; кости, казалось, трещали от неимоверного усилия. А исполин, в вечном покое, с кроткой улыбкой на плоских губах, как будто не двигался, только чуть вздрагивал. И вместе с хриплым дыханьем вырывалась из тысячи грудей, как стон, заунывная песнь:

Ой, тяни-тяги, потягивай!

Ой, шагай-шагай, пошагивай,

Как потянем на вершок,

Будет пива нам горшок,

Будет хлеба каравай. —

Налегай, налегай!

Ну-ка, братцы, в добрый нас,

В один раз,

В один дух, —

Ух!

«Тоже и этим недолго терпеть: освободятся рабы!» – подумал Юбра.

С насыпной дороги свернул он в Тешубову улицу. Выходцы Хеттейской земли, поклонники бога Тешуба, – лодочники, плотники, столяры, конопатчики и другие мастеровые, а также лавочники и харчевники, населяли эту часть Фив, у Апет-Ризитской пристани.

Темно-серые, как осиные гнезда, мазанки, кое-как слепленные из речного ила с камышом, были так непрочны, что разваливались от хорошего дождя. Но дожди были редки, в два-три года раз; да и выстроить такой домик заново почти ничего не стоило. А жили в них не только бедные, но и среднего достатка люди, по египетской мудрости: временный дом – хижина, вечный дом – гроб.

Уличные стены без окон: все окна во двор; только на входной двери – оконце, с подъемной, для привратника, ставенькой; тут же – пестрыми иероглифами написанное имя домохозяина. На плоских крышах – глиняные конусы хлебных житниц и дощатые, открытые к северу люки, «ветроловы», для уловления северного ветра – «сладчайшего дыхания севера».

В самом конце Тешубовой улицы, неподалеку от Хеттейской площади, находилась харчевня Итакамы, хеттеянина, где ужинал лодочник Небра.

Плоское глиняное изваяние, вместо вывески, над дверью кабачка изображало ханаанского наемника, тянувшего через камышовую трубку пиво из кувшина; против него сидела египетская женка, должно быть, блудница или кабатчица; тут же была иероглифная надпись: «Пивом Хакетом, Пленом Сердца, сердце свое утешает».

Юбра, входя в кабачок, оглянулся на нищенку и крикнул:

– погоди, милая, хлеба вынесу!

Но она не расслышала: голос его заглушен был песнью двух гуляк-школяров. Думая, что он гонит ее, побрела дальше. А те двое – один длинный, худой, по прозвищу Сулейка, другой низенький, толстый – Пивной Горшок, – ввалились в дверь и толкнули Юбру так, что едва не сшибли с ног. Оба во всю глотку орал:

Воду любят гусенята;

Мы же винные пары

Любим, пьяные ребята,

Удалые школяры!

Пусть мудрец над книгой чахнет, —

Наша мудрость – чок да чок!

Любо нам, где пивом пахнет,

Школа наша – кабачок!

Юбра вошел в низкую, темную горницу, застланную кухонным чадом: Итакама жарил гуся на вертеле. Люди разного звания и племени, сидя на полу, на циновках, слушали двух игральщиц на киннаре и дуде, метали кости, играли в шашки и в пальцы – сгибая и разгибая их очень быстро, угадывали число их; ели из глиняных чашек пальцами – у каждого был рукомойник для омовенья – и сосали пиво и вино через камышовые трубки.

Небра, увидев вошедшего приятеля Юбру, встал, обнял его – старики нежно любили друг друга – и заказал ему роскошный ужин: полбяной похлебки с чесноком, жареной рыбы, овечьего сыра, горшок пива и чашу гранатовой наливки. Как это часто бывает во время голода, даже бедные люди, точно храбрясь, любили роскошествовать на последние гроши.

Прежде чем сесть за ужин, Юбра вспомнил нищенку, отломил краюху хлеба и вышел за дверь. Но там ее уже не было, и он вернулся к Небре, опечаленный.

А нищенка, пройдя всю улицу и завернув за угол, остановилась: услышала запах печеного хлеба. Еще не старая, но со старчески сморщенным, больным и злым лицом, женщина, сидя на земле на корточках, пекла ячменные лепешки, прилепляя тонко скатанные блинцы к раскаленным стенкам глиняного, наполненного жаром углей, горшка.

– Хлебца, миленькая! Три дня не евши, – простонала нищенка.

Женщина подняла на нее злые глаза:

– Ступай с Богом. Много вас тут, бродят, шляются, всех не накормишь!

Но та не отходила и жадно смотрела на хлеб.

– Дай! Дай! Дай! – повторяла с исступленной, как будто грозящей, мольбой и вдруг, когда женщина отвернулась, чтобы взять из другого горшка теста, быстро наклонилась и протянула руку.

– Ах ты, чума ханаанская, жало скорпионье, сало змеиное, воровка, разбойница, гроба тебе да не будет! – завопила женщина и ударила ее по руке.

– А тебе ослиный помет на гроб! – огрызнулась нищенка и ощерилась, как давешняя сука, отступая медленно и все еще жадно глядя на хлеб.

Женщина подняла камень с земли и швырнула в нее. Он попал ей в плечо. Страшно, по-сучьему, взыв, она побежала. Ребенок в кузовке заплакал было, но тотчас затих, как будто понял, что теперь уже не до слез.

Добежав до Хеттейской площади, где была старая, бревенчатая, похожая на избяной сруб, часовенка бога Тешуба, упала она в изнеможеньи у горки сушеных на солнце для топлива навозных кирпичиков. Прислонилась к ним боком, неловко: кузовок мешал, а снять его не имела силы. Ребенок затих в нем так, как будто не дышал; уснул или умер, – не смела пощупать рукою.

Вдруг вспомнила, как соседка ее, в уделе Черной Телицы, двенадцатилетняя девочка-мать, украла чужое дитя, зарезала спокойно, как баранчика, накормила свое дитя и сама поела. «Вот бы и мне так!» – подумала нищенка.

Рвущая боль в животе грызла ее, как зверь. От кирпичиков пахло навозом, точно съестным. Взяла один, отломила кусочек, положила в рот, пожевала и проглотила; потом – еще и еще. Съела полкирпичика. Боль в животе притупилась. Но вся она вдруг ослабела, как бы истаяла от слабости. «Скоро умру», – подумала и вспомнила: «Гроба тебе да не будет!» Усмехнулась: «Без гроба – без воскресенья... Ну что ж, пусть! Вечная смерть – вечный покой...»

Казалось и ей, но не так, как Юбре, что земля перевернулась вверх дном.

А Юбра в кабачке шептался с приятелем.

– Началось?

– Началось. Люди в Заречьи уже собираются, ходят со святым ковчегом, славу Амону поют. А скоро, чай, и здесь пойдут, – ответил Небра и, подумав, прибавил: – Да нам-то что? Из-за ихнего бога бунт, – не из-за нашего.

– Пусть! – возразил Юбра. – Чем бы ни началось, а тем же кончится: перевернется земля вверх дном – и слава Атону!

– А ты, брат, потише: услышат – прибьют.

– Небось, не прибьем! – ухмыляясь, зашепелявил, как будто во рту его плохо ворочался слишком толстый язык, малый с придурковатым лицом, Зия-столяр, по прозвищу Блоха. – Нам что Амон, что Атон, все едино. Был бы хлеб дешевле рыбы, а на прочее все наплевать!

– Глупый ты человек, Блоха! – заговорил котельщик Мин, угрюмый и важный старик, с темным от сажи лицом и светлыми, как вода, глазами. – Сын-то Амонов, Хонзу, кто? Озирис-Бата – Хлебный Дух. Выйдет из земли Дух, и хлебу конец, – переколеем все, как черви капустные!

– А что, братцы, – опять зашепелявил Блоха, – правда ли, будто золотого Хонзеньку нашего переплавят на денежки, хлеба накупят да раздадут голодным?

– Что тяжеле свинца, и какое имя ему, как не глупость? – проговорил, глядя на него с ученой важностью, Сулейка, школяр.

– А ты этот хлеб есть будешь? – спросил Мин, тоже взглянув на Блоху с презрением.

– Я-то? Да мне что? Как все, так и я, – ответил тот, осторожно ухмыляясь и поеживаясь.

– Все будут есть! Все будут есть! – заспешил, замахал руками и закашлялся чахоточный сапожник Мар-Шпинек. – Сlopала младенца свинья и не расчихала, дальше хрюкать пошла; так и народ, – съест бога, скажет: «Мало – еще подавай!»

– Ну да и подлецы же мы будем, сукины дети, коли пречистый лик божий на поруганье дадим! – воскликнул, ударяя кулаком правой руки по ладони левой, великан с детским лицом, кузнец Хафра – Белый Камень.

– Одного я в толк не возьму, – заговорил, тяжело вздыхая, котельщик Мин. – Сказано: царь – бог. Как же бог на бога восстал?

– Это не царь, а господа большие, кровопийцы наши, утробы несытые! – опять зашпешил и закашлялся Шпинек; отхаркнул с кровью и кончил: – Перевешать бы их всех, как плотвей соленых, на одну веревочку! А главный зачинщик всему – Тута, кот ласковый, – его бы на кол первого!

– Мыши кота хоронили! – сказал, горько усмехаясь, Мин. – Нет, брат, руки коротки. Господа говорят – народ молчи: у кого меч – за тем и речь.

– Бывает и нож хорош, да вот беда: в лапке у зайныки нож, а в сердце у зайныки дрожь. Оттого и сидят у нас на шее толстобрюхие. А не будь мы дураки, больших бы можно нынче дел наделать! – проговорил все время молча игравший в кости широкоплечий, плотный, приземистый, небольшого роста человек лет сорока, со страшно искалеченным, но умным и спокойным лицом, Кики Безносый, кладбищенский вор, недавно ограбивший могилу древнего царя Зеенкеры, ободравший с царской мумии листового золота и драгоценных камней на тысячи дебенов, схваченный, судимый и оправданный за большую взятку.

Кики было имя его подложное, настоящего никто не знал. Сказывали, будто бы он в юности совершил ужасное злодеяние: будучи мастеровым у бальзамировщика, осрамил мертвое тело молодой, прекрасной и знатной девушки; злодея зарыли живым по горло в землю, но он чудом спасся, бежал, сделался атаманом разбойничьей шайки в болотах Устья, был пойман и, по отрезаньи носа палачом, сослан на золотые Нубийские прииски; снова бежал и разбойничал, снова был схвачен и сослан в медные Синайские копи; но и оттуда бежал, долго скрывался и, наконец, перед самым бунтом явился в Нут-Амоне, под видом Кики Безносого.

Только что он заговорил, как все замолчали и обернулись к нему. Но он уже опять занялся костями, с таким видом, как будто все, что здесь говорилось, была пустая болтовня.

На минуту умолкшие было игральщицы снова забренчали в киннару, задудили в дуду, а школяры затянули пьяную песню. Стемнело. Засветили подвешенную к потолку медную лампаду со зловонным кунжутным маслом и глиняные плошки с овечьим салом.

– Зен говорит! Зен говорит! Слушайте! – слышались вдруг голоса.

Зен – Зеннофер, человек лет тридцати, с болезненным, грустным и тихим лицом, со страшными, на слепых глазах, бельмами, младший жрец – уаб, в святилище бога Хонзу-Озириса, слыл прозорливцем, потому что знал наизусть древние свитки пророков и сам имел виденья, слышал гласы.

Игральщицам велели замолчать, пьяных школяров вытолкали взащей на улицу, и в наступившей тишине раздался тихий, как бы далекий, голос пророка.

– Кому скажу печаль мою? Кого призову к рыданию? – говорил он, точно плакал во сне. – Не слышат, не видят, ходят во тьме: все основания земли колеблются. Нет разумного, кто уразумел бы, и нет безумного, кто оплакал бы!

Вдруг протянул руки и воскликнул громким голосом:

– Было и будет! было и будет! Будет зло бесконечное. Люди богам опротивеют, боги землю покинут, на небо уйдут. Солнце померкнет, земля запустеет. Взвоют стада на полях, сердце скотов заплачет о людях, люди же плакать не будут – будут смеяться от скорби. Скажет старик: «Умереть бы!» и дитя: «Не рождаться бы!» Будет великий мятеж по всей земле. Скажут города: «Изгоним начальников!» Вторгнется чернь в палаты суда; свитки законов будут разорваны, межевые списки расхищены, стерты межи полей, пограничные столбы повалены. Скажут люди: «Нет чужого, все общее; и чужое – мое; что хочу, то возьму!» Скажет бедный богатому: «Вор, отдай, что украл!» Скажет малый великому: «Все равны!» Жить будет в доме дома не строивший; непахавшие наполнять житницы; в ткань облекутся не ткавшие, и смотревшаяся в воду будет смотреться в зеркало. Золото, жемчуг, лапис-лазурь будут на шеях рабынь, а госпожа пойдет в рубище, скажет: «Хлебца бы!» Новыми богами сделаются нищие, и перевернется земля вверх дном, как вертится гончарный круг горшечника!

Вдруг встал, упал на колени и поднял слепые глаза к небу, как будто уже увидел то, о чем говорил:

– Было и будет, – будет новая земля и новое небо. Лев ляжет вместе с ягненком, и младенец взыграет над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. Благословен Грядущий во имя Господне! Он сойдет, как дождь на скошенный луг и как роса – на землю безводную. Вот Он идет!

Замолчал, и все молчали.

– Все врет! – слышался вдруг в тишине голос Кики Безносого. – И что вы дурака слушаете?

– А ты что на пророка божьего лаешь, пес? – проговорил Хафра, Белый Камень и положил руку на плечо Кики так тяжело, что он пошатнулся. Ловким движением выскользнул из-под нее, схватился за висевший у пояса нож; но, взглянув на детское лицо великана, должно быть, раздумал сердиться, усмехнулся одними глазами и проговорил спокойно:

– Ладно, коли он пророк, пусть скажет, когда это будет?

– Для таких, как ты, никогда, а для святых скоро, – ответил Зен.

– Скоро? Ну вот и соврал. Нет, брат, много воды утечет, пока дураки поумнеют.

– Да ты-то сам знаешь, когда? – спросил Хафра.

– Знаю.

– Ну так говори, не мямли!

– А что, пророк, Уны-царя надпись надгробную помнишь? – проговорил Кики, усмехаясь все так же, одними глазами.

Зен молчал, как будто не слышал, но что-то дрожало в лице его, как у маленьких детей, готовых испугаться и забиться в родимчике.

Юбра тоже начал дрожать: понял, что в этом споре между святым и злодеем решаются судьбы земли. А Белый Камень все грознее хмурился.

– Забыл? Ну так я напому, – продолжал Безносый. – Жил-был Уна-царь в древние дни. Умный был человек, умнее всех людей на земле, а разбойник, вор, сукин сын, не хуже нашего. Помер, похоронили его и сделали над гробом надпись, какую сам он велел: «Кости земли трещат, небо трясется, звезды падают, боги дрожат: Уна-царь, богов пожиратель, выходит из гроба, идет на

ловитву, ставит капканы, ловит богов; режет, варит, жарит, ест: большеньких – на завтрак, средненьких – на полдник, меньшеньких – на ужин, а старичков да старушек – на благовонное курево. Всех пожрал и стал богом богов».

– Что ты вздор мелешь, шут? – крикнул Белый Камень, сжимая кулаки в ярости. – Прямо говори, не отвиливай!

– А вот и прямо: скоро – не скоро, а час придет: скажут нищие, скажут убогие: «Чем мы хуже Уны-царя, богов пожирателя?» Скажут сукины дети, воришки, разбойнички, лбы клейменные, спины драные, ноздри рваные, носы резанные, скажут проклятые, скажут Пархатые: «Мы ничто – будем всем!» Тогда и перевернется земля вверх дном; тогда и он придет...

– Кто он? – спросил Хафра.

– Сэт-Озирис, Черненький-Беленький, два братца в одном – бог-смерд!

– Молчи, убью! – закричал кузнец и занес над ним кулак. Кики отскочил и выхватил нож. Началась бы резня, но вдруг с улицы послышались крики:

– Идут! Идут! Идут!

– Бунт! – догадался первый Шпинек и бросился к двери. Все за ним.

Сделалась давка. Блоху притиснули к стенке, чуть не раздавили. Мина повалили на пол. Хафра споткнулся об него и тоже упал. Кики перескочил через обоих и свистнул разбойничьим посвистом, крикнул:

– Есть ножи?

– Есть! – ответил ему кто-то с улицы.

Там все бежали, как на пожар, в одну сторону, от Ризитской пристани к Хеттейской площади.

Было темно, луна еще не всходила, только звезды мерцали на небе и где-то полыхало красное зарево.

VII

Люди толпились на площади. Смутный гул голосов прерывали отдельные возгласы:

– Слава Амону Всевышнему! Слава Хонзу, сыну Амонову!

Вдруг, сначала издали, а потом все ближе и ближе, послышалось стройное пенье. Площадь осветили красные светящиеся факелы, и торжественное шествие вступило на нее.

Впереди – ливийские наемники; за ними – опахалоносцы, кадилоносцы; потом – хоремхэбы – жрецы-заклинатели; и, наконец, двадцать четыре старших жреца-нетератефа, по двенадцати в ряд, с бритыми головами, в леопардовых шкурах через плечо, в белых, широких, туго накрахмаленных, как бы женских, юбках, несли на двух шестах божий ковчег – Узерхет, ладью акацийного дерева, с льняными парусами-завесами, скрывавшими маленькое, в локоть, изваяньице бога Амона. Тень его сквозила сквозь тонкую ткань в трепетном свете факелов; но и на тень бога люди не смели взглянуть: увидеть – умереть.

За ковчегом шла толпа. Пели хором:

Слава Амону Всевышнему,

Слава Хонзу, Сыну Амонову!

Пойте им в высоту небес,

Пойте им в широту земли,

Возвещайте славу их!

Скажите: «Бойтесь Господа!»

Скажите в роды родов,

Великому и малому,

Всей твари дышащей,

Рыбам в воде и птицам в воздухе,

Скажите знающим и незнающим:

«Бойтесь Господа!»

Юбра тоже пел, произнося имя Атона вместо Амона; в хоре это не было слышно. А иногда ошибался, славил бога врагов своих и радовался: знал, что там, куда они идут, уже не будет врагов; лев и агнец будут вместе лежать, и младенец выигрывает над норою аспиды.

Рядом с Юброю шла нищенка из удела Черной Телицы. Давеча нашел он ее на площади, у горки навозных кирпичиков, полумертвую от голода, привел в чувство и накормил: Небра достал у приятеля-лодочника хлеба для нее и молока для ребеночка. Поев и увидев, что дитя живо, сосет соску, ловко скатанную для него Юброю, она ожила и пошла за ним, как собака идет за накормившим ее человеком. С ним попала и в шествие.

Крепко и ласково держал он ее за руку, как будто вел и эту погибавшую дочь земли в землю новую, и эту скорбную – к Утешителю. Плохо понимала она, что происходит, и, не смея взглянуть на тень бога за тканью завес, только повторяла со всеми:

Слава тебе, Милосердный,

Владыка безмолвных,

Заступник смиренных,

Спаситель низверженных в ад!

Когда вопиют они: «Господи!» —

Ты приходишь к ним издали

И говоришь: «Я здесь!»

В ад низверженной была и она: не придет ли Он к ней, не скажет ли: «Я здесь», — думала она и радовалась так, как будто знала, что там, куда они идут, уже не будет голода и матерям не надо будет красть чужих детей и резать, как

баранчиков, чтоб накормить своих.

Первым в левом ряду двенадцати жрецов-нетератефов, несших ковчег, шел Пентаур. Юбра увидел его, и они обменялись взглядами. «А ты как сюда попал, слуга Атонов? Уж не сыщик ли?» – прочел Юбра в глазах Пентаура. «Ну, полно, какие теперь сыщики? Все мы братья», – ответил Юбра тоже взглядом, и тот, казалось, понял, – улыбнулся, как брат.

Шел в толпе и Зен-пророк: мальчик-поводырь вел его за руку. Скорбно до смерти было лицо его, – может быть, он знал, что Кики Безносый прав: только для того и перевернется земля вверх дном, чтобы пришел бог-смерд.

Вышли по улице Медников на священную дорогу Овнов. В самом конце ее тускло-красный шар луны, перерезанный черной иглой обелиска, как суженным зрачком – кошачий глаз, выкатывался медленно из-за святилища Мут.

Вдруг шествие остановилось. Впереди послышался трубный зык, барабанный бой; засвистели стрелы и камни пращей: то была застава нубийских стрелков и пращников, высланных против бунтовщиков.

Одна стрела вонзилась в подножье ковчега. Жрецы опустили его наземь; люди обступили и покрыли бога телами своими.

Натиск нубийцев был так стремителен, что ливийские наемники дрогнули и побежали бы, если бы не подоспела внезапная помощь.

Давеча Кики Безносый, с кучкою таких же, как сам он, удальцов, прошел с Хеттейской площади на ту насыпную дорогу, где работники, тащившие днем исполинское изваяние царя Ахенатона, легли на ночь спать тут же, на дороге, кто на соломе, а кто и на голой земле. Большею части их Кики не мог добудиться: спали таким мертвым сном, что казалось, если бы земля под ними горела, не встали бы. Но меньшую часть, сотни три, поднял он одним возгласом: «Грабь!» – повел их на заставу нубийцев и, ударив ей в тыл, решил битву в пользу бунтовщиков.

Шествие двинулось дальше с победною песнью:

Горе врагам твоим, Господи!

Тьмою покрыто жилище их, —

Вся же земля во свете твоём;

Меркнет солнце тебя ненавидящих,

И восходит солнце любящих!

Дойдя до Амонова храма, прошли мимо него и завернули направо, к святилищу Хонзу. С легкостью рассеяли малый отряд мадиамских стрелков и вошли в храм. Но здесь узнали, что золотой кумир Хонзу, при первом известии о бунте, был вынесен и спрятан в ризнице Амонова храма.

– Полно-ка, люди, бога спасать, пора и о себе подумать! – крикнул в толпу Кики Безносый, вскочив на пустое подножье кумира Хонзова. – Здесь нам поживы не будет, всё Атонова сволочь пограбила, а за рекой, в Чарукском дворце, еще много добра. Ну-ка, братцы, за реку!

Спор поднялся, чуть не драка, что делать, бога спасать или грабить.

Юбра слушал, и страх нападал на него: то ли началось, чего он ждал, или совсем другое?

Долго спорили; наконец разделились: большая часть пошла с Кики за реку, а меньшая – к Амонову храму.

Эту часть вел Пентаур. Ждали новой засады, потушили факелы. Люди шли молча, с суровыми лицами: знали, что, может быть, идут на смерть. «Все умрем за Него!» – думал Юбра с тихой радостью.

Подойдя к Амонову храму, увидели, что стражи не было. Два гранитных колосса и два обелиска, как будто стоя на страже, откинули на белокаменную площадь, залитую лунным светом, черные тени.

Пентаур с кузнецом Хафрой подошли к воротам храма. Тускло, под луною, искрилось золото их с иероглифами из темной бронзы – двумя словами: «Великий Дух».

– Руби! – сказал Пентаур.

Хафра поднял топор, замахнулся, но не посмел ударить, опустил руку. Пентаур выхватил у него топор и воскликнул:

– Поднимите, врата, верхи ваши и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы!

Поднял топор и ударил. Гул тяжело прокатился в звонкой пустоте за вратами, как будто из-за них ответил сам Великий Дух.

– Ахайуши, Ахайуши, дьяволы! – слышались крики в толпе.

Ахайуши – ахейцы, полудикие наемники севера, только что прибыли в Египет на службу к царю, прямо в Город Солнца. В Нут-Амоне их почти не знали, но уже ходили страшные слухи об их безумной отваге и лютости.

Выскочив сразу из трех засад, окружили они толпу бунтовщиков со всех сторон и прижали ее к стенам храма так, что некуда было бежать. А наверху, над вратами, на плоской крыше храма, тоже заблестели медные шлемы и копья; там была засада эфиопских пращников. Градом посыпались оттуда стрелы, камни и свинцовые пули пращей.

Пентаур поднял глаза и увидел прямо над собой, в одном из узких окон-бойниц в стене храма, мальчика лет пятнадцати, с черной обезьяньей мордочкой, хищным оскалом белых зубов и двумя раскосо торчавшими перьями, зеленым и красным, в черной шапке курчавых волос. Положив стрелу на тетиву, он медленно натягивал огромный, из носорожьей кости, лук и целил в Пентаура.

Тот вспомнил, как давеча ручная обезьянка, сидя на верхушке пальмы, над крышею Хнумова дома, кидала шелуху стручков в спавшую плясунью Мируит, – и чуть-чуть усмехнулся. Мог бы отскочить за выступ стены, но подумал: «Зачем? все равно убьют, да и хорошо умереть за Того, Кто был...»

Тетива зазвенела.

«Был или будет?» – успел он спросить и ответить: «Был, есть и будет!» – пока стрела свистела. Медное жало ее вонзилось в грудь его, под левым соском. Он упал на пороге запертых врат: подняли врата верхи свои, и поднялись двери вечные, и вошел Царь славы.

Юбра, стоя у ковчега, смотрел, как дралась последняя горсть ливийцев. Вдруг свинцовая пуля пращи ударила его в висок. Он упал и подумал, что умирает. Но через минуту приподнялся на локте и увидел, что ахейские дьяволы рубят ковчег. Белые завесы повисли, как сломанные крылья, обнажая маленькое, деревянное, источенное червями, закоптелое от дыма курений, углаженное поцелуями изваяньице бога. Воин схватил его, поднял, размахнулся, ударил оземь и наступил на него ногою. Божье тельце хрустнуло под нею, как раздавленное насекомое.

Юбра пал лицом на землю, чтобы не видеть.

А Пентаур спокойно умирал. Кто-то тихий-тихий, как бог, чье имя «Тихое Сердце», – то ли мальчик, похожий на девочку, то ли девочка, похожая на мальчика, – склонился над ним. «Кто ты?» – хотел он спросить, но вечный поцелуй замкнул ему уста. И тихие струны запели:

Ныне мне смерть, как мирра сладчайшая,

Ныне мне смерть, как выздоровление,

Ныне мне смерть, как дождь освежающий,

Ныне мне смерть, как отчизна изгнаннику!

VIII

Дио отправилась на свиданье с Птамозом, когда бунт только начинался в Заречьи, а по сю сторону реки еще все было спокойно.

Иссахар ждал ее у восточных ворот Апет-Ойзитской ограды, где лежало в развалинах запустевшее гробничное святилище царя Тутмоза Третьего. Выйдя из носилок и велев людям ждать у ворот, она вошла с Иссахаром в

полуразрушенный пилон святилища. Подойдя к стене, покрытой сплошь изваяньями и росписью так, что не видно было пазов между камнями, он уперся плечом в стену. Подвижной, на оси вращавшийся камень повернулся, открывая узкую, темную щель. Боком пролезли в нее оба и начали сходить по крутым, вырубленным в толще скал, ступеням. Иссахар с факелом шел впереди по отлого спускавшемуся подземному ходу.

Было душно: недра земли, прогреваемые вечным египетским солнцем, никогда не простывали: солнцем напоен был мрак. «Слава тебе, Боже, во мраке живущий!» – вспомнила Дио. Здесь, казалось, и мертвым тепло лежать в гробах, во чреве земли, как младенцам во чреве матери.

Бесконечная роспись вдоль стен изображала плаванье бога Солнца по второму, подземному Нилу: в бездыханной тишине повис парус ладьи, и мертвые пловцы волокли ее волоком, через двенадцать пещер – двенадцать часов ночи, от вечного вечера к утру вечному.

Тут же иероглифы славили Полночное Солнце, Амона Сокровенного:

Когда за край неба нисходишь ты,
самый тайный из тайных богов,
то сущим в смерти свет несешь,
и, прославляя тебя из гробов своих,
воздевают усопшие длани свои,
веселятся под землею сущие!

Главный ход пересекали боковые ходы. Вдруг замелькали по ним красные светы факелов и черные тени – люди с ношами копий, мечей, луков и стрел.

– Куда несут оружие? – спросила Дио.

– Не знаю, – ответил Иссахар нехотя.

«В город, должно быть, бунтовщикам», – догадалась она.

В этих подземных тайниках Амонова храма были склады оружия, а также серебра и золота в слитках, лапис-лазури в кусках – остатки храмовой казны, утаенные от царских сыщиков. Все это собрано было на день восстания против царя-бogoотступника.

Завернув за угол, в один из боковых ходов, и пройдя его до конца, остановились у запертой дверцы в стене. Иссахар отпер ее, вошел, засветил о факел лампаду, поставил ее на пол и сказал:

– Подожди здесь, за тобой придут.

– А ты куда? – спросила Дио.

– За Пентауром.

– Ступай, ступай, приведи его сюда! – проговорила она радостно: все время думала о нем.

Иссахар вышел и запер дверь.

Дио оглядела келийку, пустую, сводчатую, длинную и узкую, как гроб, а может быть, и в самом деле гроб. Стены покрыты были сверху донизу иероглифными столбцами и росписью.

Села на пол. Долго ждала, соскучилась. Встала и, взяв лампаду, подошла к стене, начала разглядывать роспись и читать иероглифы. Загляделась, зачиталась так, что не слышала, как время шло.

Вдруг пламя лампы снизилось, вспыхнуло в последний раз и погасло. Сдвинулись стены душного, черного, как бы осязаемого, мрака. Ей сделалось страшно, что не придут за нею, оставят ее в этом гробу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/merezhkovskiy_dmitriy/messiya

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)